

ПСАЛОМЩИК

Посвящается моему погибшему другу юности – Михаилу Сергеевичу Евдокимову, воистину народному артисту России.

Пролог

Чужие люди изорвали в клочья мой житейский букварь, а я выучился читать по нему себе на беду. Теперь мне кажется, что после московского мятежа девяносто третьего года прошли столетия.

Я лишь чудом остался жив на раздавленных баррикадах.

«Господи!» – сказал я в ночь перед штурмом. – Если останусь живым, то буду служить Тебе всем, на что Ты дашь мне силы...»

Молиться я не умел, но, видно, кто-то из мёртвых молился за меня.

После всего пережитого на баррикадах занятия литературой стали казаться чем-то вторичным, а наш брат писатель – докучливым болтуном. Мне стал омерзителен город с его пирами, на которых стоял густой запах трупобной помойки.

Как штиль, пришла опасная усталость. Мне казалось, что рассудок мой помрачён, и прекратилась сокровенная музыка в душе.

Я слышал пустословие людей, которых ещё вчера несчастный народ возносил как знамя. То, что они делали, напоминало мне отточенную борьбу нанайских мальчиков. Они партийно-классово и аппаратно-кассово были всегда близки к властям и жили в другом пространстве с его временем. Над ними не капало.

Мне захотелось бежать из Москвы, как с чужбины, в долгое целительное молчание. Забыть сорные, утратившие смысл слова, перейти на церковно-славянский язык, который пока ещё не знали и не уродовали все эти егеря-загонщики, охотники до чужого...

И я бежал, чтобы глаза не видели позора столицы, как позора матери. Запалился, хотел пить, но вода была мутной от золы и пепла чудовищного крематория, где заживо сгорала, корчилась и не хотела умирать моя изумительная планета Россия. Я стал пить водку – палёная водка едва не спалила рассудок. Я уже не жаждал сначала реванша, позже – покоя. Пришло равнодушие.

Почти десять лет бежит моя тень за тенью родины. Искать её – всё равно, что искать мой городок Китаевск на пачке «Беломорканала». Я обиделся на народ, на рабствующую Россию. В девяносто четвёртом в Калуге едва не женился на хорошенькой немке по имени Петра, чтобы уехать туда, где можно молча жить, пока не закопают в ямку. Но – хранил Господь! – на немке по имени Петра женился один мой благополучный приятель. Я потерял сон и съёжился от болезненных сновидений. Лишь в разъездах по «территории» я отсыпался, потому что внушал себе надежду, что еду от тьмы к свету. Половину последнего года прошлого тысячелетия я жил у друга в заграничном уже Крыму. Спал, ел и ничего не хотел. Научился, не вставая с дивана, из «положения лёжа», щелчком отправлять скомканную газетную четвертушку в мусорное ведро. А когда отоспался и когда смутно захотел жить, то стал смотреть в телевизор.

Я увидел в нём крупнокалиберные пулемёты на зубцах старых стен Генуэзской крепости. И это курортный Судак? И это киммерийские мои холмы? Я смотрел, как с прутьями арматуры и бейсбольными битами идут мусульманские боевики прямо на объективы телекамер...

Люди говорят, что они берут русскую землю по всему Крымскому побережью. И прошлым летом отряды меджлиса прилежно атаковали Южный берег. Идёт нашествие, захват жизненного пространства для мусульман.

«...Из русских тут выживут только придурки-сталкеры... – сказал некий лысый жук-носорог в ходе беседы с дятлом-телеведущим, который дробненько, с пониманием смеялся. – ...Объясните мне: а что такое собственно русские – прилагательна или существительна?»

Я бы объяснил ему по зубам, но с этим ящиком Пандоры связь, как известно, односторонняя. И они стали бойко объяснять мне, что русские – это нечто наднациональное. Меня охватила ярость. Да, нам, русским, не повезло. Выбор у нас невесёлый и небогатый, но он есть. Я найду его. Так началось крымское оздоровление.

Снова не спалось до самого ветреного утра. Как бывалый оптимист я ясно видел: будет хуже. Под утро прилетела в сад какая-то большая птица, била крыльями, перелетала с места на место. Едва забрезжило, я распахнул окно и глянул в сад. Это была не птица, а зацепившийся за голый куст жасмина сорный полиэтиленовый пакет...

Корабль Крым уходил в Турцию – мне же нужно грести в обратную сторону. Я собрал дорожную сумку. Вечером того же дня сел в поезд и уехал из бывшей русской Украины в пустое, холодное пространство квазигосударства.

В колёсном перестуке пульсировало: кто ты тут – кто ты там... кто ты – куда ты... кто ты и куда ты...

Я поехал туда, где далеко от автобанов и шатких дворцов на кровавом песке миллионы двухжильных мучеников погружались во тьму времён, как моряки обречённой подлодки. Туда, где суровыми зимами мёрзли в ДОСах¹ и казармах отдалённых гарнизонов служивые. Голодные и холодные, они недужно отстукивали зубами SOS и ни на что уже не надеялись «во тьме и сени смертной» (Мф. 4:16). Беспризорные дети с рогатками, солдаты, которым не суждено стать воинами.

Кто я в этом новом и неудобном для миллионов русских lebensraum²?

1 Дома офицерского состава.

2 Жизненное пространство (нем.).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Воры и лохи

1

«...Рано утром, когда нищие ещё не вышли в городок, я входил в него со стороны села Кронштадтский Сон. Было ещё четыре дня до Покрова Пресвятой Богородицы, но уже ощущалось дыхание зимы по ночам. Лимонная заря едва занялась и подсветила облака. Они, гонимые противным ветром, шли над пустынной степью, живо меняя очертания. Было неудобно и холодно в степи, но нельзя думать об этом в пути. Я шёл и распевал акафист Смоленской Одигитрии...

Когда жив был мой отец, то он меня спрашивал:

– Что волосы отрастил, как пасаломщик?

– А чо? – как эхо отвечал я. – Все так ходят. Как в Ливерпуле!

– Ливер пуле нипочём, а вот вшивоту разведёшь! Это похоже. Но это похуже пули в ливере! Пасаломщик!

Советский пионер, я и слыхом не слыхивал, что это за «пасаломщик» такой. Мнилось мне, краснопузому, что я роковой поэт, как, например, гусарский поручик Лермонтов. Нынче всё в моей жизни совместилось. Аз есмь червь. Но червь образованный. Бывший исторический писатель, а ныне самый настоящий псаломщик, но с короткой стрижкой и бодрыми армейскими усами.

Может быть, лучше ничего не помнить. Как бывшая супруга моя, давняя, старобрачная, барочная, порочная, барачная ещё Надежда Юрьевна, наверное, вспоминала меня только тогда, когда я протягивал ей деньги. С её стороны это умно, потому что здраво. Ей неведома была горечь Эмерсона³, который измученно спрашивал некогда: «Как объяснить моей жене, что когда писатель смотрит в окно, он тоже пишет?»

Ей, бывшей моей жене, не давали спать химеры мелкобуржуазной *dolce vita*. Зараня, когда какой-нибудь неведомый дед ещё не вышел на гумно молотить, она уже непременно будила меня:

– Ой, не знаю: рассказывать тебе сон – не рассказывать? Снится мне и снится море, купе поезда... Звёзды...

Она научила меня вставать до зари. Когда её сон повторялся три ночи кряду, я брал командировку, собирал сидорок и уезжал. Так уехал в Москву в девяносто первом году, когда начался большой революционный фарс, и там впервые увидел политических оборотней, чьей религией был Арбат. Недурно обустроились его приёмные дети. Они позировали с автоматами в руках вблизи Арбата, не отходя далеко от пап и мам.

«Однажды вернусь на причал и увижу, – нередко думал я под ночной перестук колес, – что моя жена безраздельно вышла замуж, что её украли взрослые вороватые дяди. И горько заплачу, весь изорванный в клочья молодым, клыкастым капитализмом...»

Так и случилось.

Я ушёл бы в затвор после глубокого нырка в отчаяние, но духовник не благословил. Он сказал, что мой подвиг⁴ ещё не подошёл к уходу от мира и что грех хоронить в душе веселье. Бывало, хотелось домой по старости лет и инвалидности духа. А жена – замужем. Она сожгла мои дни, как сентиментальные школьные дневники, изукрашенные не всегда хорошими, но памятными отметками. Мне с моей профессией оставалось лишь протянуть ноги. Недавно я прочёл в какой-то газете, что одному станкостроительному заводу, чтобы выжить, пришлось наладить производство гробов. Мёртвые стали казаться мне «социально ближе», нежели ещё живые. Они, уже мёртвые, стали способны кормить ещё живых. А люди так заторопились, что псаломщиков со

3 Р.У. Эмерсон (1803–1882), американский писатель.

4 *Подвиг* в церковно-славянском значении – это жизненный путь человека.

священниками на все похороны не хватало. На Сибири негусто православных приходов. Мы с моей новой женой Аней живём в деревенском доме её родителей. Я помнил её институткой, она меня – преподавателем. Помню и то, что не однажды просыпался, курил, пытаюсь разогнать сны, где эта красавица ускользала от меня в тот самый момент. Она писала простые стихи, но, читая их, я думал: откуда в ней это небесное знание? Потом замужество, развод. Говорили, что она передумала вздуть очаги культуры в деревнях степного Алтая, а поступила в Литературный институт. Через полтора почти десятка лет я встретил её в деревенской церкви на Рождество Христово. Она рассказала, что выпустила в Москве две книги стихов и вот вернулась в свою деревню учительницей литературы. Случайно ли мы встретились через годы? Кто я теперь, когда непобедимая старость грозит мне в ночные окна? Любил ли я её? Я удивлялся ей и был благодарен ей. Она вернула мне высокий смысл человеческой жизни в супружестве. Я понимал, что люблю её, когда с ужасом оглядывался назад, на перепутье дорог, где мы могли бы никогда не встретиться. Я понимал, что любой иной путь, кроме этого, был бы губителен для моей души. Любовь эта не была страстной, она была дружественной. Не хочу уподобляться писателям и философам, рассуждавшим о любви, поскольку любовь для меня – это поступки, а не рассуждения об их природе. У нас родился сын – что с ним будет, когда я умру в этом концлагере? Родителям Ани едва ли нужно было понимать, что делает чужой взрослый человек в их доме, когда ничего не делает? Писатель. А кто будет навоз из стайки выносить да по огороду-кормильцу разбрасывать? И они, по сути, правы – недеревенский я житель.

До недавнего времени Аня учительствовала. Потом перестали платить жалованье, школы не стало. И тогда мне вспомнилась газетная заметка о гробовых дел заводе. Неплохо зная церковно-славянский язык, я стал читать на похоронах Псалтирь и все присущие скорбному случаю молитвы. Если нет иерея, каждый мирянин может совершать все церковные службы, за исключением таинств. А разрешительную молитву тоже может читать только священник. Вот мы со стареньким отцом Глебом в поте лица добываем свой хлеб. Я просто шабашу с благословения отца Глеба. Принимать хиротонию, прежде чем душа почувствует этот непреодолимый зов Божий, опасно для неё. Это всё равно, что надеть свинцовый пояс и прыгнуть с облака в море. Чтецом в собор не возьмут, если бы даже я этого и хотел. В соборе своя братия. Туда берёт сам отец настоятель или отец наместник, причём берёт того, кого лично знает. Идти в наш маленький храм? Но там, как и в прочих приходах, чтецу очень мало платят. Вот я и гастролирую, прости меня, Господи, дело привычное. Я – и чтец-причётник, и псаломщик, и пономарь, и сам себе регент хора, и певчий.

Отец Глеб нынче – священник заштатный, а кончал семинарию сразу после войны и почему-то в Варшаве. Он часто хворает. Приходилось мне и одному нести крест похоронного чтеца.

– Это, паря, пока ты чтец... – говаривал он. – Ты придёшь к священству. Вот сейчас ты чтец, потом станешь иподьяконом, потом, даст Бог, и рукоположат тебя. А чтец ты благоговейный, Петя. Слово ты не читаешь, ты его – чтишь! Пастырское слово нести, Петя, не каждому из нас, грешных, дано...

– Ой, батюшка, не искушайте нас без нужды! Только меня-то там, среди иереев, и не хватает. Помните, мы с Аней, с отцом Христодулом ездили на сорок дней к вдове священника Полухина? Там ещё мальчик-алтарник «Санта-Лючию» на японском языке пел... Помните?

– Как забыть!

– Вот помянули мы тогда протоиерея Полухина, все разговорились, застрекотали. У иных уже скорбь с лиц скочевала. И подошла ко мне его бывшая послушница: «Ну, ладно, – говорит, – ваша жена просто "сдвинулась" на этом Христе. Но Вы-то, хотя бы, человек адекватный?» – «А что такое "адекватный?"» – спрашиваю и делаю невинные глаза. – Это вы... никак, про это... про фараонов, – говорю, – египетских, что ли?» Она отшатнулась, сдвинула бровки к переносице и стала эти мои бараньи глаза пробовать алмазным буром, а они – чёрные. Я бы даже сказал – страстные! Не пробурила. «Забавно, – говорит. – Вы что, прикидываетесь князем Мышкиным, да?» – «Нет, я не князь, – отвечаю. И заключаю вне её логики. – Я от древнего русского боярского рода!» Она сочла, что имеет дело, по-ихнему, с сумасшедшим, а по-нашему – с юродивым. Сделала бровки вразлёт и отошла, но пару раз холодно оглянулась. Так какое же из меня,

батюшка, духовное лицо с таким желчным норовом?

Снова батюшка смеялся. А я и рад был повеселить хорошего человека.

2

Иногда глаза батюшки Глеба не казались мне человеческими. Впечатлительность ли моя тому причиной, но смотрела на меня из их синевы сама вечность. Я догадывался, что он пострадал во время хрущёвских гонений на церковь, однажды спросил – глаза эти захмарились. Он покряхтел, помолчал и ничего не ответил... Позже он привязался ко мне, как, впрочем, и я к нему. Пьём чай на его терраске. Дышим майским цветом черёмухи. Он, батюшка, с лёгкой слезою изливает мне свою добрую память.

– Когда мой родитель, Царствие ему Небесное, сделался священником, я, Петенька, всегда прислуживал ему в церкви. Он сам был – высокий, брови – крыльцами такими! Я – маленький, в белом стихарике! Умилительно было прихожанам видеть нас вместе-то, да-а! То я кадило раздуваю, то со свечечками церковными играю, храм из них строю! А уж как просфору любил запить святою водицей... Капелюшечки, веришь, не пролью под ноги! Родитель мой, тот – о-о-о! – послушал бы ты его! В церкви, бывало, мирян поучит! Потом в дом пригласит да ещё поучит! Зимы длинные, а у нас всё людее, людее! Лампадки, свечечки пома-а-а-аргивают так, пома-а-а-аргивают! И люди дома у нас охотней ему сердца открывали! А бывало, и мы с ним по хатам идём с требами, или с «постной молитвой» в Великий пост, или просто познакомимся! Пурга пуржит, метель метелит – идём! Папаша-то мой добрый, помню, и говорит однажды: «Надо, – говорит, – отдельно от гомилетики⁵ научиться говорить, глядячи в глаза людям! А им, Глебушка, людям, важность подавай! Вот читал, – говорит, – я вчера проповедь, кончил. Стоят, не расходятся. Кивают головами: "Да, да, батюшка! Истинно так!". – "Так расходитесь же, говорю, с миром!" Один спрашивает: "А когда, батюшка, Писание Божие будет?" – "Да разве, говорю, вы не поняли, что я говорил? Я вам и говорил-то из Божьего Писания, только что не по книге". – "Эдак-то ты, отче, и теперь говоришь! Так в церкви не говорят, там только читают. Ты, отче, читай по книге, мы и будем знать, что ты читаешь Божественное! А то – что? Так и партийный секлетарь умеет: говорит не знай что да глядит на людей!" – "Из церковной книги вы ничего не поймёте!" – говорю. А они мне: "Это всё равно. Мы будем знать, что батюшка говорит нам Божие Писание!"» После стал он брать любую книгу с клироса, клал её перед собой на аналой и вроде по книге читал. Тогда слушают! Помню! А вот у тебя получаться, Петя, будет!

«Их, людей, понять нетрудно! – скептически думаю я. – Чего ж мы хотим, если в России Библия на русском языке была издана только в конце девятнадцатого века. То есть девять раз по сто лет подряд люди не знали, чему их там заставляют кланяться в церкви. А как узнали-и-и... Тут и началось!»

Словом, пустопорожняя моя образованность кикиморой манила в болото неверия, холодным дуновением скепсиса гасила слёзы душевных озарений...

– У тебя получится! – заверяет батюшка. – И народ нынче учёный, другой, и я поучу, коль нужда будет! Я на тебя дивлюсь, Петя! Я во младых ногтях не мог ни есть, ни спать после отпевания. Закрою глаза, вроде засну, так и тут он – усопший! А то и она, усопшая! Вскинусь я среди ночи, как дитё: «Мама!» Помолюсь с оглядкой – отпустило, а уж и рассвет в окнах! – рассказывал мне доверительно старенький батюшка Глеб. – А тебе-то каково?

«Нет, в священники я не гожусь – не тот коленкор души, не тот раскрой... Драчун я, батюшка...»

– Я, батюшка, на них насмотрелся: люди как люди. Лежат, никого не шевелят...

Говорю это, но понимаю, что некая разница есть: одно дело убитые в бою, а иное – павшие в миру. Одно дело старики, иное – детки. Зачем приходили? Зачем ушли обманутыми? Мне

5 *Гомилетика* – наука о церковном красноречии в духовных учебных заведениях.

отвратительна низость смерти. Не нахожу в ней никакого величия.

– Одна, – говорю, – низость и детское удивление эта смерть: да поди ж ты, жил, жил и – помер!

– Смерти нет! – испугался своей доверчивости батюшка. – Есть лишь вечная жизнь!

– Конечно... – согласился тогда я. – Под самую Троицу проезжаю по улице Серостана Царапина в Китаевске. Кручу педали. На велосипеде. Смотрю – пьяный мужик валяется. Свобода! На следующий день еду – он всё ещё лежит. Умер, стало быть. Люди отворачиваются и – мимо. Эх, думаю, народ ты наро-о-о-од! Надо, думаю, карету вызывать. Остановил я велосипед, прислонил вот так вот к заборчику – и к нему, к покойнику: точно! не дышит. Наклонился я, беру его правое запястье за пульс. А он меня, батюшка, своей левой за руку-то – хватить!.. Вот так прямо – хв-в-вать! Да как запоёт: «Гра-а-а-бю-у-у-ть!»

– Господи, помилуй! – выдрал батюшка свою руку из моего хвата. Переложил чайную ложку из правой руки в левую и троекратно осенил себя крестным знамением, а на лице – недоверчивая улыбка. – Тебе бы дьяконом петь! Прямо вот так: гра-а-бю-ют!

– Да, вот именно так! По-сиротски басом профундо: гра-а-а! Потом чистым дишкантом: бю-ю-ют! А отчего это он, батюшка, ожил – скажу. А оттого, что я – лох! У него лапа, как у матёрого чекиста, батюшка! Видно, бывший борец-вольник из некогда приличного общества «Динамо»! Пока я вырывался, велосипед-то у меня и – оп! – умыкнули. Это хорошо ещё, что в Китаевске меня народ знает в лицо! Благо, батюшка, что у меня в краевой милиции Славка есть! Не то – идти бы мне этапом на Сочи!

– Почему на Сочи? – с удовольствием спрашивает ясноглазый мой батюшка. Ждёт разгадки, как дитё.

– Ну, не в Сибирь же! Тут холодно. А от холода человеку одна польза! Не зря же на Севере больше честных людей, чем на Юге!

– Кто их считал? – риторически спросил батюшка. Он нахохотался не по сану, утирал обильные слёзы и выбивал в платочек острый, как угол, нос. – Циркачи, прости ты нас грешных, Господь сладчайший... Кто транспорт-то умыкнул?

– Подельники этого борца с псаломщиками, батюшка, вот кто. А это было моё единственное транспортное средство! Немецкий велик, с тремя скоростями!.. Вот она, отец мой, вечная жизнь лоха!

Батюшка хохотал столь же весело, сколь и виновато. И примирительно приговаривал:

– Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! «Гра-а-бю-ют!» Ну ты, Петря, и здоров присочинить! Уж писатель так писатель!

«А-а! – думаю. – Петря! Он откуда-то с Запада... Потому и учился в Варшаве...»

Смотреть в его детские лазоревые глаза – всё равно, что в баню с устатку сходить.

– А чего тут, батюшка, присочинять-то? – говорю. – Статистика у нас такая: сколько надо – столько и пишем, остальное – на ум берём. Вот кто присочиняет-то! Факт! А я – что? Я – агнец кроткий! У них в России умирает около миллиона человек в год, то есть несколько дивизий ежедневно. Причём никто нам, ещё живым людям, не помощник. Отнюдь! Но псаломщику помощь, да ещё какая!

– Господь знает: кого, когда и куда призвать... – говорил, обороняясь, батюшка Глеб. Но уж послушать он меня любил, как и я его, впрочем.

– Да, уж это как водится! Кого в армию – и в Чечню, а кого – на Бермуды... Но и у меня, батюшка, в связи со сменой профессии появились деньги, – злобствовал я. – Да подавись он моим этим велосипедом – куплю себе вольву! У вас какая машина?

– У меня? Да мне бы, Петя, лошадку пегонькую да тележку лёгонькую!

– Ну вот, даст Бог – куплю вам «пассат» с таких-то заработков! С нашей статистикой выморочности – нехай «пассат» дует!

– Даёшь храму десятину, Пётр Николаевич, и то – хлеб... А мне от тебя – и без того радость! Хоть ты и горячий, а душа у тебя чистая... Не прикидывайся, скоморох!

– Куда-а-а там душа! Что это за душа, которая в присутствии доброго пастыря курить хочет! А вы, батюшка, белорус, чай?

– Я православный русак родом из-под Гродно. Когда Русь-то крестил, Петя, святой благоверный наш князь Владимир? Во-о-она когда! Ещё не было ни Беларуси, ни Украины, ни России – была Русь...

– Жаль, нас с вами, батюшка, там не было! – подначиваю я. – Хотя вы-то, может, уже и были!

– Ой, Петя! Грех с тобой один! Вот ты мне скажи: ты в политике-то за кого воевал? За левых или за правых?

– Я, батюшка, не Чапаев, чтобы всё вам показать на картошке, а потому я вам, батюшка, загану загадку. Можно?

– С Богом!

– Один, батюшка, русский учёный стал изучать арабский язык. А там, как вы знаете, читают справа налево! У нас же – наоборот: слева направо. И случилось непоправимое. Что?

– Принял магометанство, басурман?

– Нет, батюшка. Теперь он полиглот. Читает на всех языках, но только посередине. Весь дурдом со смеху умирает!

Стало хватать времени жить.

Оно, время, уплотняется, как вата, когда мёртвых по три раза на день видишь ещё на этом берегу. Вот и нынче отмахал я ночной степью, да на больных ногах, вёрст уже двенадцать. Даст Бог, не заплутаю.

Ни огонька, словно вся степь изготавилась к налёту ночных стратегических бомбардировщиков. И пока лунный свет не отключили, хорошо в пути поговорить самому с собой, чтоб звери боялись и дети смеялись.

Иду и вспоминаю вчерашний день, когда я, в который уже раз, мог последовать за большинством народа.

3

Предвыборные кампании шли по стране, как мировая революция имени Троцкого по планете.

В деревню Кронштадтский Сон приехал, а точнее – прибыл, вор Чимба, анархист по всем ухваткам. Он не был обуян тоской по малой родине, но здесь некогда жила его честная бабушка-трактористка. Он «перетёр с кем надо» и решил выставиться в депутаты Краевой думы от родного районного центра. Впрочем, родным ему и населённым, да ещё и пунктом деревню Кронштадтский Сон нынче можно назвать с большим риском быть правильно понятым.

По бумагам проживало здесь двести сорок семь человеческих душ. Сколько из них мёртвых – знать забудь. Все они – лохи. А этому Чимбе, как и Чичикову, всё равно: живые ли, мёртвые ли они. Есть на бумаге с гербами – стало быть, вечно жив человек, можно его в банк закладывать. В этих бумагах до сих пор числятся несколько посёлков, где на месте домов давно растут русские деликатесы – крапива с лебедой.

Но закрыть эти осиянные латунной, холодной луной пустыри власти не могут. Оттого, что множество из тех, кто уехали дорогами русского кочевья в направлении счастья, имеют здешнюю прописку – иначе бомж.

Клуб сгорел. В школе снегом продавило крышу, и местные зимогоры растащили стропила с обрешёткой на дрова.

Позже я узнал подробности визита Чимбы.

Он прикатил со своими ворами и быстро собрал насельников Кронштадтского Сна на деревенском «точке»⁶, где в детские его годы было «тырло» – обсиженный молодью пятачок

6 *Точок* (от слова ток – место для обмолаа хлеба); точки в деревнях и сёлах Алтайского края служат местом вечерних увеселительных сборов молодёжи.

земли для вечерних посиделок.

– Давно хотел спросить: почему эту деревню назвали Кронштадтский Сон? – живо пока ещё интересовался молоденький пресс-секретарь Чимбы, имевший неуловимо дымчатый облик в своих дымчатых же очках. Казалось, сними с него, как с Гриффитса, очки и модную упаковку – он станет невидимкой.

– Чо мне её, родину, в натуре перекликивать? – озадачился Чимба, читая черновик своей речи. – Я чо: Миклуха энд Маклай? Деревня и деревня! Тюрьма же, прикинь, есть – Матросская Тишина. Атас, кича! А у нас – Кронштадтский Сон, прикинь...

Пресс-малый сообщил, что народ пришёл подивиться на знатного земляка. Чимба вышел к народу, надел на нос очки без диоптрий – такой ему затеяли имидж.

– Здорово, народ мой! – возгласил Чимба в «матюгальник». Его воры сделали глаза, как у хороших мальчиков. Младшая группа камеры предварительного заключения. – Мне, нах, приятно видеть всех вас в добром здравии!

– Ково? – переспросила бабушка Нюся. Она была кавалером ордена Материнской Славы второй степени и курила трубку, потому что была селькупкой. «Ково» в Сибири – это всё равно, что «повторите, не понял» в Кремле. То есть она не расслышала слов оратора.

Но шестёрки посуровели. Они посмотрели на старуху с одинаково холодным вниманием, как, может быть, некогда смотрел на них потолок карцера. Понятно, что старуха Нюся собиралась не на карнавал, когда вырядилась стариком. Просто рожала и растила только сыновей. Они выросли, а матушка всё ещё донашивала за ними. Поди-ка выбрось добро – деньги плочены.

– Вас! Всех вас, до единого, нах! – повторил Чимба во всю силу своих прокуренных голосовых связок. Он забыл человеческий язык.

Мир замялся, засмеялся, а глухуше на глазок подумалось, что мир заплакал, что этот пащенок грозит их сероштанному миру бедами.

– За что, паря? Живём, паря, тихо, хлебаем лихо!.. – захныкала она громко, как всякий глухой.

– Время, время, нах! Отвезти этого кощея на хату! – указал он своим прихвостням на бабушку. – Дайте ему, кощею, денег! Дайте ему хороших сигарет! Дайте шоколадку с пепси-колом!

– Ково? Колом ково-то?! – ужаснулась неугомонная старица. – Колчаки каки-то! За что, паря?!

Шестёрки в длинных до пят облачениях – к ней.

– На тебе, дед, бабло и – домой, шнель цурюк!

Чимба приказал «отвезти», имея в понятии «отвезти в иномарке до самого курятника», а они поняли команду как «отвести». Вытолкали из реденькой толпы старушку, принятую ими за старика, что, впрочем, дела не меняло, дали ей пендаля; дали ей деньги и стали, как благородные колчаковцы, показывать дулом пистолета в сторону деревни.

А пресс-секретарь авторитета Чимбы в это время говорил агитку:

– Господа! Нынешние депутаты Краевой думы уверены, что содержание такого, как ваше, захолустья слишком дорого обходится для бюджета. Депутаты уверены, что проще вложить в переселение несколько миллионов, чем отщипывать от тощего районного бюджета кусочки. Но как реально должно выглядеть это переселение? Как?

Он сделал паузу, и все услышали отзыв ворон: «Карк! Карк!» – и увидели чёрную, похожую с земли на клубок гнуса, тучу ворон в равнодушном, низком, как банный потолок, провисшем и худом небе.

Пресс-секретарь помахал мирянам рукой, намекая на внимание к своей особе.

– Счас нас обсерут с головы до пяток! – тревожно, громко и просто, перекрывая разбойничий грай, вознёсся чей-то предостерегающий глас.

Пресс-секретарь снял шляпу и сказал в «матюгальник»:

– Никто из нас не собирается гадить вам, граждане! – наверное, он имел в виду толстые зады плохих депутатов Краевой думы и не менее толстые морды своих нанимателей. – Дело в том, что официально закрыть населённый пункт им, паразитам, очень сложно. Такое решение должно

приниматься на уровне госуда-а-арственной власти, а стало быть, государство должно – что? – гаранти-и-и-ировать права переселения. И, само собой, финанси-и-и-ровать переезд на новое место жительства!..

Это мотовило словесной соломы, наверное, не задавалось вопросами: а куда их переселять? Кому они нужны? Где их ждут на земле, которую они мнили своей?

Он пилил бабки. А бабки – они ведь разные бывают по русским деревням.

Он натужился и продолжил:

– В конце минувшего одна... две тысячи третьего года депутаты Краевой думы приняли решение заложить в бюджет полтора миллиона рублей для переселения жителей из вашей захурьженной деревни Кронштадтский Сон. А требуется их, граждане, четыре с половиной миллиона! А на содержание вашей захолустной лёжки требуется восемь миллионов рублей в год, господа! Из чего складывается эта сумма? А вот из чего: необходимо дизельное топливо – раз, надо поддерживать школу – два, фельдшерский пункт – три, решать транспортные вопросы – четыре! А в школе вашей деревни Кронштадтский Сон всего-то семь учеников. И сама школа, граждане, практически, мешком накрылась. Выгодней вас переселить, так получается! И вот прохвост-губернатор заявил, что областная администрация готова вплотную заняться этой проблемой, что намерена в первом квартале разработать соответствующую программу. В Сердобайском, например, после закрытия шахты и переселения шахтёров остались бюджетники, не «вошедшие» якобы в программу переселения. У вас, славных земляков Чим... простите, Георгия Ивановича, иная ситуация. Здесь, граждане, не было официального переселения, но после того как закрылись хлебозаготовительные предприятия, народ потихоньку начал бежать. Кто мог, тот сбежал. Остальные – перешли на натуральное хозяйство...

И тут в натуральном хозяйстве грянул первый натуральный выстрел.

Преданный пресс-секретарь сильно, как распутный Кирибеевич купца Калашникова, толкнул Чимбу в грудь. Он сбил его с ног в жидкую грязь, а сам завизжал и – рухнул на авторитета сверху. Чимба расценил самоотверженность писаки как попытку покушения на свою особу. Он без раздумий застрелил его – того, кто сверху. Сам укрылся телом, как мешком, и продолжал беспорядочную пальбу до тех пор, пока не опустошил полторы обоймы. Так получилось: пейзаже залегли, не боясь родной грязюки, а свои братки – те не захотели пачкать «прикида». Кто-то из них в суматохе пустил шефу в лоб шальную ли, заказную ли серую пчёлку. Теперь двоим из приезжих нужны погребальные «прикиды». Атаман Чимба – сам-третей, если по-семейному.

Я вспомнил эту мразь – Чимбу, когда меня вызвал к трупу покойного «людоеда» старший лейтенант милиции Слава Рыбин.

4

Славу я знал лет пятнадцать, ещё до той поры, когда он слёзно напросился на срочную в армию. Его не брали потому, что он считался «умственно отсталым», учился в спецшколе. После пэтэу он, детдомовский сирота, мирно труждался на обувной фабрике. Умственная отсталость его никак особо не проявлялась, разве в том, что всё в жизни ему нравилось. А так у полноценных юношей не бывает. Это ненормально. Ему нравилось после смены принять душ и, неспешно съедая ровно три порции мороженого, пешим ходом пройти от проходной фабрики до проходной общежития. Ровня водку изводила, водка – ровню, ровня детские пинетки с фабрики выносила, а счастливый Слава ел эскимо на палочке. Там, в общежитии, под койко-местом стоял как знак самостоятельности настоящий чемодан. В чемодане как знак зажиточности таился настоящий взрослый фотоаппарат «Зенит». Счастливый Слава снимал девчонок-обувщиц и совсем не в том смысле, который вкладывается в слово «снимать» в наши безблагодатные, окаянные дни. Он обязательно дарил девицам мутные, худо закреплённые фотографии. Фиксированного заработка не всегда хватало на фиксаж, но половодье счастья казалось Славе вечным. Второе, что нравилось ему не меньше, чем столовские котлеты с макаронами, – это милицмейская форма. Тёплыми вечерами лета он с простецкой улыбкой топтался у дверей девичьих комнат в новенькой

милицейской фуражке и с фотокамерой на ремешке через плечо. На зиму он околпачивался казённой шапкой того же рода войск. Зимой он часто приходил ко мне услужить по части походов по магазинам, а потом садился читать толковые словари.

Сына полка нигде не гнали. Он завёл дружбу с райотделовскими «трудниками». Более того, сам капитан Клячин, народный поэт милиции, обещал:

– Сходишь в армию, паря, – будет, понимаете ли, семь на восемь харя, а когда станет харя семь на восемь, тогда и к нам, понимаете ли, милости просим!..

И всё. И счастья юниору было не занимать.

Он сходил в армию по большому счёту – на северá. Дедовщина? Так у детдомовского мэна – вся жизнь измена. И ухорезовская дедовщина ему – обычный пляжный режим: ударили – лежим. Ещё раз дали – мы ещё удале. Славу били крепко, так, что к лицу семь на восемь, словно сапожными гвоздичками, приколотили ему лютую ухмылку. С ней он и жил, готовился в академию. Иногда разыскивал меня, приходил поговорить о каверзах службы милицейского человека и почитать толковые словари. А бывшая жена ему – чай, кофе, хорошие манеры. Пигмалионила от всей своей души, а потом говорит, в таком барственном расположении:

– Хорошо! Раньше баре арапчат заводили, и мы своего дурачка завели! А вот машину купить не можем.

То есть иносказание. Намёк на наши со Славой способности. Я говорю:

– Прочти любую хорошую сказку: дураками Русь сильна! И я делаю ставку на сильных!

Она уже невесть где, а Слава – вот он. Намедни он и позвонил мне:

– Чо, командир, говоришь, «мрёт народ – вороне радость»?..

– Радость, радость... Что дальше-то, господин офицер?

– Чо?

– Радость, говорю! «Чо»! Дальше чо?

– А-а! Так тут такое дело, Пётр Николаевич: великая тут в тебе есть нужда, римским папам легче дозвониться!..

И он стал рассказывать:

– Гы-гы-гы... Тут интересный, Пётр Николаевич, случай с выносом тела Гоши Чимбы! Это авторитет такой. Я сейчас звоню по мобильнику, но стою одной ногой в могиле с боевой гранатой на шее... гы-гы-гы... Короче, поехал этот Гоша Чимба с бригадой воров в Кронштадтский Сон, агитировать! Да, понял? Там его быки стали выводить с митинга глухую бабку Нюсю Вертинскую! Понял? А она оглохла ещё в середине девятнадцатого века во время расстрела на Ленских приисках! Гы-гы-гы! Они ей дали денег: иди, дескать, хлам, на печку! Сечёшь масть? А она – ухом-то не ведёт. Быки – они же весёлые, ну и ствол-то давай ей в былую грудь-то тыкать! Тут ка-а-ак вороны налетели – в полнеба! Налетели в полнеба-то и давай ор-р-рать! Быки едальники распахнули – в небо смотрят: к чему атас? А бабка Нюся, Царствие ей Небесное, – бывшая красная партизанка! Гы-гы-гы! Хлесь! – батожком по стволу. А ствол-то, Пётр Николаевич, не на предохранителе! Патрон досланный! В итоге: бац! – выстрел! Бабка с ног – *и дух с неё вонь!* Пошла тут канонада, ёпарэсэтэ-э-э, гы-гы-гы! В сумме, Пётр Николаевич, четыре покойника: старушка, Чимба, один бык и один пресс-атташе! Мы с судмедэкспертом Вадиком и этим трупом Чимбой находимся в деревенском погребе – кругом лёд, как на глобусе Антарктиды! Мы – заложники, три дни мать-то! Гы-гы-гы... Гы-гы... Братки говорят: надо авторитета отпеть! Легко сказать, да, Пётр Николаевич? А поп-то священник – на два района! Наведёт, говорят, за ним хвост потянется! А приезжай, мой ты дорогой профессор, продуди ты над ним *псялтырю*, Пётр ты Николаевич! Да объясни ж ты им, как надо трупы перед десантом в рай *закумуфлировать!* Не приедешь – убьют ведь сперва меня, потом и тебя самого достанут, нехристи эти! Гы-гы-гы!

Не напрасно Славка словари читал.

– Слышу! – говорю. – Слышу... Ты что это всё время гыгыкаешь? Не понимаю – отчего тебе смешно. Смешно тебе? Ты в истерике?

– Какие истерики? Смеётся! Это я так дрожу, Николаич! Гы-гы-гы... Холодно же здесь, Николаич! И страшно! Гы-гы... Не знаю, что за мобилу они мне дали – моя из погреба ватще

Китаевск не берёт...

– А почему вы в погребѣ, а не в тёплом морге, например?

– Мы и были поначалу в тёплом районном морге! Да, в самом тёплом! Мы сутки труп охраняли совместно с чимбинскими братками! Совместно с трупом! Я ж говорю: его братки тайно хоронить решили! Без надлежащих почестей! Часть своих побитых в морге оставили – для дезориентации мстителей за старую свою мать и прамать, а вождя – вывезли! Гы-гы-гы... Но, Николаич, погибшая-то прабабка-то оказалась прамать-героиня! Секѣшь масть, Николаич? Все её внукидзѣ и правнукидзѣ вооружились числом с хренову тучу, собрались в кучу и – мстить.

– А чего ж теперь его охранять?

– Эх ты, Николаич! Охраня-а-ать! Они все, как один, с нательными крестами! Как люди, воры-то эти! Руки, ноги, голова. Тела, правда, во фраках.⁷ И говорят: надо, мол, по православному обычаю человека погреб... погреб-сти или как там у вас? Тело обмыть надо? Надо. Челюсть подвязать надо? Надо. А где бабку взять? Одна была знающая женщина на всю округу – баба вот эта Аня-селькупка, так они её неумышленно – что? Мочканули! Ты – второй знаток из всех известных в нашем рыгионе! Они, братки, тебя и затребовали. Остальных днём с огнём – и не отыщешь! Боятся! Кто не слышал про твой талант эвакуатора – кинь в него эргэшку! Они говорят иномарку ему – тебе, значит – купим, если приедет вместо бабки. Или катафалку закажем, если не приедет! Пусть, мол, выбирает! Гы-гы-гы...

– Скажи им, что мужчине должен обмывать мужчина. Пусть нагреют воды и тёплой губкой крестообразными движениями оботрут тело своего шефа...

– Да погоди ты, Николаич! Какие тёплые губки? Тут тебе что: первая брачная ночь? Дак, вот, слушай! К утру, Николаич, смотрим: *матка боска чесноковка-а-а!* Нас там, в районном морге, сыновья бабкины и её внуки окружают! Она же героиня – их больше и больше ползёт! Глядь: уже полурота! Все с обрезам – артиллерия, ма-а-ть моя Палагея! Я говорю Вадик: выдай же ты браткам эту пададь, эту Чимбу, на пару часов раньше – и линяем рука об руку! У тебя, говорю, зарплата семьсот рублей! За неё смерть примать? Вот и пиши: «...от воздействия факторов внешней среды...» – и тэдэ. Гы-гы-гы... Вадик им и выдал под заказ! Ему без разницы! Под давлением силы! Они прикрылись нами с Вадиком и сманеврировали в деревню! Вот перевезли тайно в хороший чей-то братский погреб. Приезжай, а? Тихонько отчитайся, бабло получи – и свободен! Братки настаивают, чтоб скорей, пока все бабкины потомки не сбежались! Братки смотрят на Гошу Чимбу – и помирать-то им вроде не в дугу! Они тут даже у судмедэксперта Вадика документы проверили, у меня тоже проверили! Вадик говорит: что ж вы, кстати, раньше, когда шеф ещё дышал, как сом, и пел, как плейер, бдительность не проявили? Так они его чуть не урыли. Гы-гы-гы... А тебя уже мы с Вадиком удостоверим!.. Гы-гы-гы... А то они нас уроют! Я чо гранату-то на шею повесил? Для самозащиты! Самсо – самозащита с оружием!..

– Слава, ментовская ты рожа, как говорят в сериалах! Степной ты наш Чехов, откуда они знают, что ты меня знаешь?

– Да ты что, гуру, что ты, родной? Город-то наш какой? В погребѣ – чихни, а на-гора – эпидемия, ну!

– Ладно, второгоник... Координаты погребѣ, район?

– Район? От Китаевска – километров тридцать, а от крайцентра – сто двадцать с лихом! А район-то тут, Николаич, Верх-Чумышкинский! Жуть! Могила, а не погреб... Хотя... Гы-гы-гы... Телефон, кажись, разряжается... Войнушку, короче, услышите – рулите на звуки боя!.. Семьдесят семь. ЭсКа.

«Спокойный был район, – думаю я. – Это в Китаевске скоро покойник на покойника с косами пойдут! А там было тихо...»

Сердце щемит.

– Перезвони, Слава!

Я телефонировал батюшке Глебу с тем, чтобы взять благословение. Батюшка благословил:

– Христос разбойника взял в Царствие Небесное. Поезжай, Пётр Николаевич, Господь с тобой! Буду молиться за тебя, но осторожней там, гляди-и-и! Сам-то я... ты знаешь: без сил...

И поехал я на машине, присланной братками.

Едем. Просёлочных дорог давно не чистят. Осенью можно с грехом пополам переплыть океаны грязи. А зима – конец навигации. Степь... Леса нет. Уголь не завозят. Люди даже кизяка наготовить не могут – коров не осталось. У «скорой помощи» нет денег на бензин. А зачем медикам «за спасибо» гонять по деревням на драндулетах с красными от стыда крестиками, когда можно сачкануть в отапливаемом помещении? Народный художник Чупахин жил в деревне. Он погиб от инфаркта, поскольку «скорая» ответила на вызов, что нет бензина. Потом было установлено, что бензин был – просто колдуны в белых халатах не хотели ехать по холоду.

А прошлой зимой, помнится, у бывшего школьного учителя из той же деревни Кронштадтский Сон случился аппендицит. Нынче такого рода болезнь на селе – это смерть. Труп пролежал в голбце⁸ среди картошки неделю. Человека не могли вывезти и похоронить. Как мне объяснили позже, когда добрался туда: одна-единственная в деревне печная труба с дымком – это крыша магазина. Старую тарой и отечественными оградами отапливаются. Неделю над бедным учителем, поскрипывая родными казёнными половицами, ходили осиротевшие дети. Они спускались в подпол за картошкой, чистили её. Ели.

Какое мне дело? Прочесть над убитым канон по усопшим. Объяснить, как подготовить расписной разбойничий чёлн к плаванию в океане вечности. И – прощай, раб Божий, мне – направо вдоль по тёмной улице жизни, где твои братки побили фонари, освещающие вечернюю стезю моих сестёр и братьев.

К деревне мы подъезжали медленно, как на катафалке. Тем более что лежала она, убогая, в самой стрелице – на стыке всех мыслимых оврагов, ложбин и ручьев. Воры знали, что их могут обстрелять потомки убитой матери-героини и по всем правилам войны выкинули из окна белой машины белый флаг. Когда холодок смерти касался их шкур, они, воры, вспоминали правила и законы.

Разумеется, я тоже вспоминал.

С моей хорошей памятью я стал неплохим специалистом по похоронным обрядам. Еду и вспоминаю ритуал: после прочтения литии и канона преподобному Паисию Великому, поёмый за избавление от муки без покаяния умерших, необходимо совершить омовение тела покойного со чтением Трисвятого.

Одежду, в которой человек умер, и всё, что использовалось при его омовении, принято сжигать.

– Одежду его не сожгли, надеюсь? – спрашиваю братка с рыбьим, как у любовника русалки, рылом. Он вытянул правую руку в окно и держит в ней белый флаг.

– Ты что, профессор, ну, совсем? Где, где у нас, ну, расpirаторы?

«Заикой, – думаю, – в детстве парень числился: нукает...»

– В погребке дымом, ну, задохнёмся и кони, ну, кинем! А если дым, ну, через вытяжку и пойдёт – они, бабкины, ну, дети, под этой завесой подкрадутся: гранату, ну – фуйк! И на тебе – иже, ну, еси, ну, на небеси: тут, ну, грязь помесил – там, ну, помеси!

«О, тупица! – со злобным сладострастием думаю я. – О, тупой из тупых! Да они и без того вас выкурят! Селитры-то в деревнях – море!»

– Не знаю никаких «фуйк», – говорю я терпеливо. – Только без чистых одежд его тело при воскресении не обновится.

– А он чо: в натуре, ну, воскреснет?! – тупица с усилием разворачивается ко мне, словно табанит поплавром, как веслом. В глазах его блестят страх и ледовитое недоверие. Видно, он и продырявил своего шефа. – Да? Воскреснет?

– Все воскреснут перед Страшным судом...

8 Голбец – отгородка или чулан в крестьянской избе возле русской печи со спуском в подполье.

– Ништяк... – шепчет вор. – Бог, ну – не абрашка, забачит, ну, барашка...

– При чём нубарашка-то? Нательный крест на нём есть?

– Золотой, ну, на ём, – говорит вор-флагоноша. – Был, ну... Его Мифа себе взял, чёрт, ну, кумовской... Зачем, говорит, золото, ну, обратно зарывать – люди на приисках не бакланили, ну, по самые уши в студёной, ну, говорит, водиче...

– Вот пусть этот же Мифа и повесит крест на место. Иначе молитва недействительна.

– Да я его самого, ну, повешаю, если чо, ну, коснись! На галстук! Во! Ещё! Шефу, ну, галстук-то надо, а, профессор?

– Галстук не надо. Мы ж его хороним, а не в пионеры принимаем!

– Вах-ха-ха! Чимба, ну, пионер! – Рыбёнок так расхохотался, что выронил флаг. Это было похоже на детскую истерику. – И-а-ах-ха-ха-ха! Ой, ну!

Это водитель двинул его локтем куда-то под плавник.

– Слушай, чмо, чо профессор говорит! Говори, профессор!

Не впервой говорить. Это они меня не знали, а я их брата знал. Он, этот браток, пасует перед мудрёными и красиво произнесёнными словами. А уж суеверней вора – нет в мире твари. Разве что какой-нибудь ламутский хуторянин.

– «Видите, братие, богатого житие, кии успех многоразличные ризы и одр украшен, предстоящих множество и брашна сладкая, а душа его нага и скверна яко в кале грешнем телеси будуще. Кая бо есть полза, аще и всего мира богатство соберет, а душу погубит?.. О како златом красимся, без красоты лежит и без лепоты, яко прах от ветра разыдется...» – исполнил я просьбу.

Рыбоглавый смотрел на меня как смиренное дитя. Он дробно хлопал ресницами. Будто я сказал «изыди!» – и смущённый бес оборотился свиньёй да и чухнул через все картонные кордоны в сторону Мёртвого моря.

– Ни-и-иштяк, ну, хе-хе! – быстро опомнился он, тут же поперхнулся, впуская бесёнка обратно. – Говори, ну, дальше!

– Да что говорить! Нужен венчик на лоб...

– Ага, ну, вот-вот! Дырку-то, ну, в лобешнике прикрыть надо... Да, батя?

– Не для того, чтобы дырку закрыть, *сын*ок, а в знак нашей веры в Пресвятую Троицу! Во упование на получение венца за исполнение заповедей Божиих! Погребальное покрывало нужно покрыть в знак того, что он находится под покровом Христовым! Есть покрывало?

– Откуда, мужик? Ты чо, ну, того? Рамсы, ну, попутал! «...Во! упова-а-ание!..» Чо думаешь: мы всю, ну, хиромантию с собой возим, как водолаз, ну, свинцовые чуни? А? Покрывало, в натуре, убежало... – и со скрипом запел, как заплакал:

Пой же громче, лужёная глотка,
Чтоб покойника бросило в дрожь,
Наша жизнь – это биксы и водка,
А цена ей поломанный грош...

– Я с собой взял... – сказал я. – Как знал...

– Навернёшь бабки. Получишь приварок! – не то обнадёжил, не то пригрозил водитель.

«Подавитесь вашими деньгами...» – думал я, говоря смиренно:

– Я не священник. Я выполняю свой христианский долг и церковное послушание – не более того. Потому мне денег не надо. Отпустите заложников: Славу и эксперта Вадика. Отпустите во славу Божию.

– Ну и флаг, ну, тебе, брезгливому, в руки... – постановил Земноводный. – Кто в жизни горя не видал, не грыз сухую корку, кто не любил и не страдал, с того не будет толку! – И вдруг подпрыгнул да как заорёт: – Гудвин, вертай, ну, тачанку: я, ну, флажок этот... ну, белое знамя, мля, ну, потерял!

– Сучонок... – сквозь зубы, строго по этикету, высказался водитель Гудвин. – Бестолковку бы лучше свою потерял! – пророчески пожелал он.

Я знал, что давно должен был заняться своими нервами. Но слово – не воробей.

– Не пойму, – сказал я, пока машина пятилась и юзила по мылкой, солончаковой грязи просёлка, – вы как: на самом деле тупые или только прикидываетесь таковыми?

– Это кто как! Хе-хе-хе! – ответил, закуривая, Гудвин. – Я вот, например, могу биксе⁹ стихи почитать... Но это не значит, что я умный. Я – дурак. В этом мое счастье! А Сынок... – кивнул он в сторону ушедшего на поиски флага, – ...он придурок. И это несчастье. Но наше общее с тобой беспокойство о том, чтобы народные мстители нас не перевстретили. У них, умных, времени много. Они-то уже всю свою мамку целиком в ямку закопали... А мы своего пахана за собой частями таскаем... Кстати, откуда вы его кликуху знаете?

– Чью кликуху? – не понял я.

– Вы назвали погоняло «Сынок»... Вы что, были знакомы раньше?

– Ах, это! Нет, я не имел чести. По годам-то он мне в сыновья – Боже упаси! – годится... Но Чимбу я знал. Жили по соседству в Китаевске...

– Усёк. Я в детстве кошачьим бешенством переболел – не всё доступно моему помрачённому рассудку.

– Бешенством? Это сурово. Почему – кошачьим?

– А сестрёнка принесла с улицы кота – и давай его дефицитной варёной колбаской кормить. Тот избегался, стал эту колбаску хавать. Откуда коту знать, что колбаса – инструмент большой политики. И я, малой, ещё тьмы-то нет: хотел быть хорошим, стал эту колбасу ему в пасть подталкивать: смотри, какой я добрый мальчик! Он меня – цоп! – за палец. Насквозь. Мать с работы пришла, а мы с сестрой – в несознанку. И началось... Водобоязнь и прочее. До семи лет не умывался. Сейчас – раз в месяц по четвергам... Шутка!

Вернулся весёлый Земноводный Сынок с флагом. Держа его в окне высунутой правой рукой, он стал шутовски креститься левой, читая свою зэковскую молитву:

Спаси, ну, меня, грешного,
От порядка здешнего,
От мороза, ну, сильного,
От труда непосильного,
От начальника-беса.
От пайки малого веса,
От игры, ну, картёжной,
От зоны таёжной,
От моря, ну, Охотского,
От конвоя вологодского,
От этапа, ну, дального,
От изолятора центрального,
Спаси, ну, во веки веков
От милиции, кар и судов!
Аминь, ну!

Но, по-видимому, Господь манкировал. И две похоронные команды всё же пересеклись. Грянул бой, в котором крушили супротивных по обе стороны линии фронта. В погреб я спуститься уже не смог. Но столько нищих из окрестных деревень я проводил последней, может быть, земной молитвой, что вооружённые дети героини меня узнали и выпустили из кольца!

И вот – расхлябанными огородами, вечерней полынной степью я уходил из деревни Кронштадтский Сон, слыша за спиной сочную пальбу и разрывы гранат, которых здешние места не слышали со времён Верховного правителя адмирала Колчака.

9 Бикса (жарг.) – любая молодая девица.

Иду пешком. Октябрь, октябрь...

Разве с такими холодными чувствами уходил я в девяносто третьем из окружённого Дома Советов! Помню только, шёл по битому стеклу, аки матёрый йог. С тех пор не видел столько битого стекла. А поддержи нас тогда все эти бабкины дети с обрезами, глядишь – и бабка бы жила, и смрад не стал бы воздухом России, которую оседлали воры.

Смерть смерти, как и жизнь жизни, – рознь.

...Один загадочный попутчик рассказывал мне в поезде, что когда обыскивали карманы убитых у Останкинского телецентра, то у некоторых обнаруживались оплаченные квитанции на гроб. Однако на морозном тогда, как и сегодня, рассвете их дровами навалили в грузовики и свезли в крематорий. Всё у нас записано, господа победители. И, сдаётся мне, что месть мёртвых будет страшна, что она уже началась.

«Зрю тя гробе и ужасаюсь видения твоего, сердечно каплющая слезы проливаю... Смерть, кто может избежать тя? Увы смерть, земля бо наше смешение, и земля покроет нас... О человеке... аще доидеши величества сана и всея мудрости и храбрости навывкнеши, сего же друга не минеши, но земля еси и паки в землю поидеши»¹⁰.

Больными ногами курильщика к утру я неспешно отмерил по «сорочьему снежку»¹¹ ещё километров около семи и миновал Бабаев Курган. Скоро по деревням начнут колоть кабанов, палить их в соломке по старинке, наедаться свежениной впрок. Я придерживаюсь трассы, но осторожно иду степью. Вид убитых, мёртвых людей не может не угнетать. Я всячески отвлекаюсь. Думаю о том, что на Всесибирский съезд нищих я обещал взять сироту Алёшу, пришедшего в городок Китаевск из казахских степей. Алёшу гложет державная обида:

– Колбиты¹², – говорил он, – не сдают своих детей в детские дома! А я – русский, надо мной смеются.

Позвонил я ему вчера из алтайской лесостепи. Сказал: жди, к утру буду у полицейской дорожной заставы на входе в город. Алёша любит слушать, как и что я говорю, а потом рассуждать по теме. Мне нужно отдать текст готовой лекции для людей из Лиги нищих и юридичих. Это корпорация *номадов*¹³ с большим будущим и ярким историческим прошлым. Президент Лиги – друг моих детских лет, киноактёр Юра Медынцев. «Человек с тысячью лиц», шагнувший со сцены в зал, где разыгрывается живая национальная трагедия. Мысленно я его вижу в образе идущего этапом на пересыльную тюрьму Мити Карамазова. Юра – богатый человек. За гонорар в пятьсот долларов я напишу ему реферат о нищих в таком ключе:

«Господа прошаки!

Благотворительность на Руси известна с дохристианских времён. Так обозвали редкое во время *бю* отсутствие совести. Эрзац-совесть – это та самая пресловутая благотворительность. Современный муляж совести называется этикой. Приведу образец нынешней благотворительности: *среди бела дня* вас берут на гоп-стоп. Вам выворачивают карманы, вам заглядывают в рот, ища остатков пищи. Они находят их, эти остатки. И предлагают вам закрыть рот, говоря: береги их, брат! Приятного аппетита! Спокойной тебе полярной ночи!

Вежливо говорят и уходят есть икру, которую мы мечем. А ведь могли и последние крохи отнять при помощи зубочистки. Но они – добрые, они творят своё благо. Они

10 Из Синодика Дедовской пустыни.

11 Сорочий снег (*сиб.*) – первый снег, зазимка.

12 Презрительное прозвище казахов, подобное «макаронникам», «хохлам», «кацапам», «чернож...», «желтопузым», «янки».

13 *Номады* – кочевники.

помогают тебе пройти в холодный накопитель и осуществить транзит в заслуженный рай, ибо богатые не наследуют Царствия Божия...»

– Мы – профессиональные нищие, Петюхан! – напутствовал меня Юра. – И не нужно этого скрывать. На строительство нового русского, заметь, мира нам каждый подаст в силу чувства юмора. Два: дай суть нашей идеи. Она такова: сегодня нищий – я, завтра – она, послезавтра – целая страна! Активней излагай, с видением перспектив! Пиши как бы путеводитель для инопланетян. Вообрази, что ты один на Земле знаешь, как дошкандыбать до оазиса в пустыне и у какого прохиндея, за какую плату взять инопланетный корм в тюбиках. Я ясно излагаю?

– Куда ясней! Ясней бывает только в кабинете окулиста...

– Или когда отключат электричество за неуплату ясака.

– Вот и излагай сам.

– Откуда же мне взять столько слов, интересно?

Уйдя в свои мысли, я не заметил, когда посеял редкой манной небесный снежок – нечаянная радость, нимало не пугающая меня мертвенной своей белизной.

Но мёртвые догоняли. Они вызывали у меня чувство страха и брезгливости с детства.

...Мне было лет около пяти, когда в бараке умер старик, которого звали Нанайцем. Наверное, он и был нанайцем. Сядет на лавочку у барачного крыльца и трубку курит. Но в гробу он казался мне похожим на ещё живого Хо-Ши-Мина с гравюры из отрывного календаря. Мне казалось, что умер большой вьетнамец, а не маленький нанаец. На его поминках все пили кисель и ели кутью. Я не всегда бывал сытым, но почему-то не смог съесть ни ложки холодного риса в той комнатке, с того стола, где час назад стоял гроб. Мёртвый нанаец, Хо-Ши-Мин – и стойкое отвращение к рису. Только вид убитых на войне и воцерковление притупили моё разгульное воображение.

– Гей! – слышу тоненький голос. – Эге-ге-э-эй!

Кажется, что Алёшиному торсу не более восьми-девяти лет, а голове – все восемнадцать. От роду ему их – двенадцать. Он чтит меня, человека учёного, мудрёного и оттого понятного. Им ведь чем мудрёней говоришь, тем большим они проникаются чувством сопричастности к этому мудрёному. Он бежит ко мне через хайвэй, а стропы оранжевого ранца придерживает в кулачках, зажатых на груди. Этот его школьный ранец когда-то был школьным ранцем.

– Что, Алёша, всё с сумой ходишь? – спрашиваю я ласково. – До пенсии-то ещё далеко?

– Жабрую, кажу, дядько Петре...

– Мы с тобой, как дед Архип и Лёнька! – я даю ему «Сникерс», купленный вчера: – Сникерсни у своему форматі...

– Якій вы, кажу, дід! Вам ще... вам трэба дівчинку собі пошукаты... – смущается он, а глядит своими карими оченятами радостно.

– Зачем же ты мне, Алёшка, льстишь-то! – говорю я. И, чтобы скрыть набежавшую слезу радости от этой встречи, закуриваю, отгоняю от лица дымок. – Вот читали мы с батюшкой неделю назад отпускную молитву... над такой одной красавицей... Э-эх! Что наша жизнь в штормах радиоволн!

– Шо ж з ій, з дывчиною, зробылося, дядько Петро? Віна в вітпуск захотіла, чи шо?

– Нашли убитую. В лесу... Витпуск тебе... Ну, с Богом! Пошли!

– Гей! – разочарованно сказал Алёша и поёжился. – Холодно ей на тім світі, га?

– Холодно, Алексей... Нам тут гораздо теплей... Как добрался?

– Да мне тут рядом от бабы Риты...

Он подал мне горячую руку, и мы с моим мехоношею¹⁴ пошли к Бабаеву Кургану.

Едва заалел восход за речкой Чумышкой. Проходящие в город автобусы ещё подсвечивали фарами. А ноги несли нас с Алёшей к первой полицейской заставе на входе в город. До неё осталось километра полтора.

– Всё! Разговаривай, Алёшка, по-русски, – как нелегал нелегалу говорю ему я. – Не то военные обозлятся – хоп! – и Дніпро под Смоленском дамбой перекроют, как вы нам в Керчи. Это будет хороший ответный ход.

– Да и х-х... с ним! – горячо отвечает Алёша по-русски. – Где она, та Украина!

– При мне – ни слова матом! В воскресенье пойдёшь причащаться.

– Ну и пойду... А вы, дядя Пётр, что же, в детстве никогда не матерились?

– Нет, я не матерился ни за какие шанежки! Я в детстве был одним из самых уважаемых граждан города Китаевска!

Я сажусь на холодную пластиковую скамейку загородной автобусной остановки.

– А простатит? – напоминает мне малыш о мрачных, отнюдь не брачных перспективах мужского бытия.

Нахожу в сумке пластырь, разуваюсь, начинаю чинить стёртые до сукровицы ноги и бурчу:

– Смотри, доберусь я до твоего воспитания, кочевник.

– Аргумент не катит! – Алёша нахватался от меня, как кошка блох. Я закурил, а он тут же каламбур: «Перед смертью не накуришься...» Хоть записывай за ним. Пробовал он и мата лёгонького, усечённого запустить, проверить меня на доброго дяденьку.

– Матюгаться при мне – категорически запрещаю... – сказал я, приступая на переломанные пяточные кости, пробуя их на боль. – Последнее предупреждение. Знаешь поговорку: любите меня, любите и моего цыганёнка? А кто ж меня полюбит, когда у меня цыганёнок матерится, как русский военнопленный! И насчет каламбуров тебе меня не одолеть. Какую вот ты музыку любишь?

– Поп-музыку! – говорит он и ждёт.

– Поп-музыка – это музыка поп, цыганёнок! Я победил!

...Что цыгане! Русские и не заметили, как стали давно уже кочевым народом. Все эти лицедеи и иже с ними искусно превратили нас в зрителей, которые шуршат бумажками от чупа-чупсов на собственных похоронах. Мы взвесь, страты. Листва вывороченного бурей дерева, корча с иссыхающими корнями. Вот и семья наша в третьем уже со времён падения монархии поколении, как безродная, кочевала с каторжного острова Сахалин на материк, на каторжные кузбасские шахты, к обвалам, к чёрным пирамидам отвалов. В Пустыню Ивановну.

...Я с куском чёрного, как шахтёрские будни, родительского хлеба вышел из барака на низкую приступку крыльца домишки по улице Ртутной, 26. Он прятался от истории на холмистой окраине кузбасского города. Мой родительский хлеб намазан толстым слоем комбижира. Тут же выкатился из-за тенистых кущ хрена огненно-чёрный петух. Он покрутил своей маленькой головой с гневными глупыми глазами. Потом шумно ударил крыльями, заклокотал и взмыл едва ли не к моему лицу. Я и обронил тот хлеб в угольную пыль, а со всего двора, со всех огородов уже бежали к трофею меченые зелёнкой гаремные его куры...

– Вор! – рассудил я тотчас. У меня ещё не крали. Стало быть, начал я в подслеповатой своей ярости выбирать из угольного шлака что потяжелей, но бабушка уже грозила мне пальцем из раскрытого окна, говоря:

– Яичко любишь? Ну вот! А петуховину осенью – сами съедим!

И сбылось. Летом султана съели. Мы ещё и поспорили с сестрой на грудной косточке, кто первый слово молвит. Косточку нужно разломать вдвоём, вдоль и пополам. А после этого тебе дают что-нибудь в руки, а ты непременно должен говорить: беру, да помню! Поспорили мы на

целый дореформенный рубль, и я бдел половину суток.

Отец приходил на обед в двенадцать часов, мыл руки, подтягивал гирьку часов, включал репродуктор и садился за стол, никогда на него не облакачиваясь. Вот я и пошёл на огород собрать ему сладких огурцов с навозных грядок.

– Жалко петуховину? – спросила из-за спины сестра.

– Маленечко...

– Ой! Смотри-ка: двадцать копеек! – она нагнулась и подняла у моих ног блестящую монету.

Я мигом вырвал у неё этот подарок судьбы, а она, хитрая, отдала двугривенный и смеётся:

– Бери, да помни!

Я подсчитал убытки: от ста копеек отнять двадцать – это восемьдесят. Это неделю копить по десять копеек в день. Ладно, приедет тряпичник, сдам утиль и рассчитаюсь.

Тут с улицы донёсся вопль певца за сценой:

– Айда-те в клу-у-у-уб! Духовой оркестр шахтёров хорони-и-ит! Дядя Петя на басу-у-у заработал колба-су-у-у!

Я поставил миску с огурцами на крыльцо, и голодной ватагой мы хлынули на похороны. Когда схлынули с мероприятия, пока ходили, кто-то спёр огурцы. Это не считалось кражей, а шло по статье «наказание за ротозейство».

Но там, в засыпных бараках сибирских каменоломен, я увидел настоящего живого вора Шуру Чалых.

Это случилось, когда лупанул невиданный на Сибирской низменности парной тропический ливень. Гром раскатывался так, что собаки рвали цепи и запрыгивали в окна барачных, распарывая голодные чрева об осколки стекла. Безымянная речонка напилась бешеною водою, поднялась видением, подмыла и обрушила свой крутой берег. А второй, пологий, – поглотила.

На том пологом берегу зимогорили в землянках-кратерах Копай-города полунищие, отставшие от паровоза истории, поселенцы каменного карьера. Отцепленный телячий вагон поезда дальнего следования.

С чердака своей коричневой двухэтажки, какие до сих пор стоят у железных дорог, мы с Юрой Медынцевым и со слепой девочкой Светой обозревали противный берег Копая – этот затерянный мир. Юра скрутил ладони в трубочки наподобие бинокля и в этот бинокль рассматривал лютую стихию.

– Что видишь, керя? – на правах командира спрашивала слепая Света.

Юра рапортовал, что копайские люди валят заборы и вяжут плоты, что поток несёт на своём горбу вороньи гнёзда и рухнувшие плетни; что какой-то человек в костюме бросился в воду спасать тонущего Гошу Чимбу: гошина голова то покажется на поверхности воды, а то снова канет.

– Скажи, керя: зачем этот Чимба полез в воду?

– Он хотел выловить чей-то патефон, керя, и стал тонуть сам! – ответил чётко, по-военному Юра. – Воду хлебают! Конец пути – Обская губа!

– Но патефон не может плавать! – засомневалась Света.

– Плывёт, как камбала! – заверил Юра.

Он был смиренным ребёнком и отличником учебы, которая давалась ему естественно, как дыхание. Придётся к ним в итээрковский дом на две семьи:

– Юра дома?

– Занимается! – строго округлял глаза искалеченный войной его отец дядя Серя. – Я вас, шельмы, научу, как правильно родину любить!

Он привёз с войны трофеи – фарфоровых пастушек, два гобелена, часы с боем и всякую диковинную мелочь, которую Юра бестрепетно таскал из дома.

– Занимается! – говорил дядя Серя и концом трубки указывал на портрет Юры, писанный маслом.

На портрете – надпись:

Учись, мой сынок!

Твоё время настанет.
И знания твои пригодятся стране.
А если учиться мой сын перестанет,
Пусть вспомнит тогда об отцовском ремне.

Под портретом подпись:

Папчик – майор артиллерии С. Медынецв

Рядом с этим портретом на гвозде висел, как жирный навозный салазан¹⁵, командирский ремень. С портрета невинными глазами смотрел на нас вороватый ангел в пионерском галстуке – сын артиллериста дяди Сери.

Ремень научил Юру делать такие невинные глаза, но это не мешало ему красть у отца охотничий бездымный порох «Сокол» и махорку. И на тот час на том чердаке у нас была выстроена из суглинка «фанза» – курительный прибор, куда забивался добрый фунт томской махорки. Но Свете мой друг курить запрещал – она считалась его невестой.

Интересной она была, эта жизнь, о чём я уже тогда догадывался. И уже тогда мне хотелось стать писателем и рассказать о своей самой лучшей жизни, где всё было перевязано веничком, и где каждая причина непременно имела следствие.

Однажды, когда наша двенадцатилетняя команда шла в поход на кукурузу, Жека Шуйцын остановился и спустил резинку шаровар: ему нравилось выводить струйкой на тёплой дорожной пыли: «Ж-Е-Н-Я». Мы всегда так делали до сих пор. Я, например, выводил «петя» с маленькой буквы. Но Юра вдруг заявил:

– Перестань, керя! Светка здесь!

– Так она ж не видит!..

– Она слышит.

– Да пошёл ты, керя!

Два кери – Юра с Жекой – подрались. Юра был лучше. Так я Свете и сказал по-честному. С тех пор я Жеке не товарищ. Но в тот час на том чердаке Света спрашивала:

– Кто же этот человек в костюме, керя?

– Не могу знать!

– Он вытащил, он вытащил Чимбу! – дождался я своей реплики. – Ура!

– А где патефон? Где патефон? – Света могла бы слушать музыку всю свою жизнь напролёт. Писаная красавица, ни разу не увидевшая своей красоты, она, когда выросла, стала рядовым работающим музыкантом. Так и шагнула из тьмы во тьму. – Где патефон-то, керя?

– Патефон? – Юра посмотрел на меня, ища подсказки. Я подмигнул ему: ври. – И патефон, керя, с ними...

На поляне у дома стоял деревянный столб на пасынках. На столбе – рупор радиодинамика. Было слышно, как насморочным, жабным голосом пел свои мантры Леонид Утёсов:

– ...Даши годы длидлые, бы друзья стариддые...

– Выключите, выключите это противное, это гундосое!.. – молила слепая Света. – А человек в костюме – кто же он, спаситель патефона?

А человеком этим и был вор Шура Чалых, который о ту пору возвращался в отпуск домой, одарив Чимбу второй, но по-прежнему единственной жизнью будущего дерзкого вора.

...Потом я видел бесчисленное множество воров, вижу их и нынче – стоит лишь включить «ящик», но второго в жизни явленного вора я видел в бане.

Кончалась зима.

В подполе кончалась картошка, а в угольных ларях – уголь.

С утра, отслушав «Пионерскую зорьку», Петя стал перебирать картошку на едовую,

15 Салазан – толстый, змееподобный дождевой червь, добытый из земли из-под навозной кучи (сиб.).

кормовую и полевую. Одновременно он следил, чтобы юный кот не вспрыгнул на братишку, который лежал двухмесячным пеленником в качке и пищал, просыпаясь, какмышь. Это настораживало кота. С портрета на стене строго глядел отец со значком ГТО на солдатской гимнастёрке.

– Надоело... – говорил ему Петя.

– Глупости! – хмурился отец. – А ты сдал нормы БГТО?

Взрослые рано, по гудку, уходили на работу. Отец на свой экскаватор «Воронеж», а мама – на грохота в камнедробилку. Вечером приходили, смеялись чему-то, внимательно слушали радио, патефон, вой ветра в печной трубе и засыпали под скрип одинокой сосны на огороде. Перед сном они о чём-то думали и шептались, как рябина с дубом.

Вечером же, засветло, Петя брал чёрное ведро и шёл к железной дороге собирать уголь, свою норму. Пальто его было перешито из отцовской шинели, а шапка осталась на улице после драки фэзэушников с местными, и Петя её взял себе: голова у него была не по возрасту большая и умная. Потому и прозван был в школе Голованом.

В один из вечеров он набрал угля очень быстро – недавно на угольный склад приходили разгружаться вагоны – и тащился домой, неприступный и гордый. Он знал, что мама даст денег на кино «Серебряная пыль». Эта пыль уже три дня витала над рабочим посёлком, а Сане всё – то некогда, то не на что. Но получилось не по его.

– Глупости, – сказал отец. – В баню собирайся, ифиоп...

Ну, что ж? Можно и в баню, кипятком этот терпеть. Одна радость – клюквенный морс в буфете да ручка банной двери из зелёного стекла в рубчик. «Всё надоело», – думал Петя, а тут мама:

– Я вам, мужики, новые рубашки купила... Сегодня завозили в магазин... Только вы их не завозите смотрите... Ифиопы...

И достала из топорной работы гардероба большую белую – отцу, а вторую, с мелкими розовыми ромбиками, Пете.

«То-то!» – подумал Петя, отец же сказал:

– Спасибо, Аня... Я первую и последнюю белую сорочку ещё до войны сносил...

– Тебе белое личит, Коля... – мама, как заколдованная, с улыбкой смотрела на рубаху, на отца. – Теперь бухгалтерша-то вовсе свихнётся с копылок...

Отец сказал:

– Глупости! – и полез на чердак за веником. – Бухгалтерша какая-то...

Потом пошли в баню, к центру посёлка, где горел ряд фонарей и который назывался на местном языке не центром, а пупом.

Отец шёл впереди, Петя чуть сзади и вдруг – хлоп! – нет отца. В тёмном проулке ребятишки натянули через тропу проволоку. Лёжа на зимней тропе, отец сдавленным голосом сказал:

– Дай-ка руку-то скорей... – и встал, легко и коротко простонав. – Варначё карьерское...

Петя, спеша и волнуясь от предчувствий, стал смахивать варежками снег с его парадного пальто, а когда задел левую руку, то отец ойкнул:

– Что, больно? – спросил Петя.

– Глупости... – буркнул отец.

Возле банного пруда, на дамбе, стояла старуха в телогрейке и нещадно стыдила голого фронтовика Федю Николаева, который купался в проруби. Он увидел отца и заорал:

– Никола-а-ай! Убери старуху! Замёрзну я тут-а!

Отец стал похож на мальчишку. Он хохотал и, размахивая веником, бежал к старухе.

Та покачала головой, сплюнула в сторону Феди, подалась за плевком всем телом, будто поклонилась, да и пошла себе домой или в гости к другим старухам.

Федя скачками, повизгивая, понёсся в баню. Отец ещё смеялся, молодец в смехе, а Петя взялся за дверную ручку из зелёного стекла и потёр её вязаной варежкой. Ручка отозвалась ему мгновенным сиянием далёкой луны и померкла на морозе.

В раздевалку доносился хохот, и банщица, хромая тётя Арина Попова, сказала:

– Ух, шваброй бы да по спинякам-то жеребячее племя-то, а! – и завздыхала, подтирая пол. –

Про-вдоль бы хребтишша-то, а! Вам не побаниться, вам бы нажбаниться!

– Глупости... – всё ещё посмеивался отец. – Чо ты, Ариша, ну? Лучше бы спела: «Где ты, хме-е-лю, зиму замувало-о-о...»

– Ты-то бабник известный... Господи, прости... Матерь Божия, святая Троеручица... «Глю-упо-сти»...

– Письма-то Федька пишет, а, Ариш? – спрашивал отец, раздеваясь сам и успевая помочь Пете. – Или собакам сено отбыл косить?.. Эх ты! – он осмотрел руку. – Вроде, распухла? А ну, глянь, Ариш!

– Язык бы у тебя бы не распух... – тётя Ариша смотрела на руку и ждала розыгрыша, потом прислонила швабру к синей кабинке и легонько помяла отцову руку. На лбу его выступили капельки пота, как на банном потолке. Отец взмыкнул телёнком и рванул руку на себя. – Ну так всё, Микола. Поломка... Это где ж так, а? Ох, мамонька! А и полбока-то вырвано! На войне, а, Колюшка?

– Под Москвой.

– Ба-а! Весь, поглянь, израненный... А в Москву-то город не заглядывал?

– Я нелюбопытный. Под юбку заглянуть – это ещё туда-сюда...

В ласковом банном тумане сновали свободные от роб каменоломы, взрывники, коногоны. Тут же тихонько мылись фэзэушники.

– Здорово, смена! – крикнул отец звонко. Отозвались довольные:...о-о-о-в!.. Коля-а-а, у кого нос доле-е-е!..

– ...Колька... сколько...

Подошёл рябой Иван, который вне бани всё время ходил в промасленных брюках и телогрейке, за что был накрепко прозван Сыром в масле.

Сыр дотянулся до батиного уха и стал что-то шептать. Слышно было только: Наташка... Галька... Верка... Шёл разговор про «холостячек».

– Глупости! – спокойно ответил отец и покосился на Петю. – Хошь, Сыр, я из тебя щас клоуна сделаю?

– Смотри сам, – крикнул Сыр, поднял тазик на пуп и поплёлся в парную. – А то – Верка будет моя!

В этот раз мылись долго – отцу мешала больная рука. Мылись, парились.

– Как ты, Коль? – спрашивали мужики. – На инвалидности?

– Бюллетень придётся, – без смеха уже отвечал отец. Он досадовал на руку. – Весна вот уже, а тут – хрясь!..

А Петя с радостью думал: весна! Он видел цветенье черёмух и водопады на лесных полянах, жёлтые цветы мать-и-мачехи на склонах оврага и птичьи гнёзда в буйной траве, каникулы, мяч...

Отец знал: кончается барда для коровы. Её осталось чуть на доньшке треугольной шахтной вагонетки. Кончается уголь – его надо выписать, привезти на лошади, вывалить у ларя и лопатами – в ларь; Сане надо сапоги или калоши на валенки, а пальтишко ещё хорошее, продюжит весну – сколько её, весны-то той; поросёнка на откорм купить – тоже надо, не последнюю зиму живём...

– Надо. Много чего надо. Ламповый приёмник хотел взять, а какой теперь приёмник после этого...

Лицо его омрачилось, и тут открылась дверь из предбанника. Голый Сыр всунул в помывочную лицо и крикнул:

– Никола, сюда! Быстро!..

– Разогнался... – буркнул отец, но встал и опрокинул полтазика воды на Петю и полтазика на себя.

– Пошли, Голован, не то чайна¹⁶ закроется... Видишь, не могут без Коли Шацких...

– Быстро! – ещё раз повторил Сыр, с головой, повязанной вафельным полотенцем. – Вора отымали! Ага!

16 Они говорили не «чайная», как принято было позже, а «чайна», т. е. Китай.

Кружок мужиков в раздевалке расступился, разомкнулся, но гомону прибавилось при виде отца. Он был в посёлке кем-то вроде мирового судьи. Отец и сын шли, прикрываясь тапками, к центру круга, где на мокрой деревянной решётке для ног сидел мальчишка-фээушник с красными ушами. Ему их надрал Сыр. Сидел паря, ни на кого не глядя, одной рукой придерживал на коленках Петину новую рубаху, а пальцами другой – ковырял подножную решётку.

– Стыд-головушка! – говорила банщица. – А?! Вот, пока ещё на решётке сидишь, а не за решёткой, проси прощенья!.. Скажи: простите меня, люди, мол, добрые! Больше никогда в жизни чужой блохи не трону! А?

– Простите меня, люди... – подняв со скукою брови, начал повторять было мальчишка, – ...добрые... блохи... не трону...

Сыр замахнулся и сквозь стиснутые зубы выдавил решительно:

– Щ-щ-щ-эс... кэ-э-эк... сур-р-раз-зёнок ты... с-с-с...

– Ну, к чему такое жеманство! – отвёл его руку отец. – Я сам беспризорничал. А ну, парень, встань!

Тот встал, голова опущена. Публика притихла.

– Моя рубаха! – с обидой выговорил Петя. – Новая! Мама только сёдни...

– Уддуй! – сквозь стиснутые зубы произнёс, нахмурясь, отец. – Рубух юму муло!

– Муло! – Петя крепко тёр нос, переминая боль на боль, чтобы не зареветь. – Муло!

– Я вот тебе дам «муло»! Хлюндик! – нахмурился отец. – Одевайся, пошли: чайна через полчаса закрывается.

– Дак, Николай! – воскликнул Сыр. – Дак, это как жа? Рубаха-то чо? А твой-то – чо: без рубахи опосля бани, да?

– Глупости, – сказал отец. – Человек скоро полетит в космос, а ты со своей рубахой!

Сыр озадачился:

– Дак, это... Мне – чо? Не моя рубаха-то, дак, чо мне...

– Пошли в чайну, ребята...

И все оделись в новые белые рубахи, которые только вчера завезли в орсовский магазин. А Петя надел отцовскую, до пят.

– Рубаха-то до пят, а девки торопят! – смеялась банщица. – Да, Петька? Вырастешь – на завод пойдёшь?

– В ниситут!

Когда Петя дорос до её величины, ему хватило веку увидеть, как заводы-мамонты встали и вымерли. Отчего-то стало жаль их домашний уют.

...Сказать это прозой? Но проза низка, когда о любимом – с пристрастием. Сибирских сосновых морозов тоска, казалось, бодрила ненастьем. Надёжа завод, ты давал нам тепло, значительным был и всевластным, а соли пакетик да хлеба кило не делали детство ужасным.

Я лично пятёрки из школы носил, корову доил и покосы косил. Мне силы надолго хватило. Иного бы трижды скрутило...

...А летом наши дома ставили на дезинфекцию, то есть морили в них клопов. И тогда народ-муравей весело и привычно ставил на улице печи и кочевал на жительство в стайки.

Родительница вора Шуры, чумакая грохотистка Лена Чалых жила в первом этаже того же дома, где угнездились и мои родители со чада. Так, героически, появился Шура, одетый в бостоновый костюм. Это был костюм, который хотелось потрогать. Он был сталистого колера, а сорочка под пиджаком жёлтая, как весенний цвет мать-и-мачехи. Сибирь не баловала детских глаз разноцветьем садов и яркостью одежд. Долго ещё цветенье картофельных полей казалось мне райским цветением. И до седых волос доживший, я считаю, что её цветение красиво. Но жёлтая рубашка Шуры, его красная, обветренная на лесоповалах ряшка и зелень заречного луга доселе напоминает мне любой светофор на перекрёстке...

И я сказал Алёше, пряча аптечку в сумку:

– ...Нет! Я, Алёша, не матерился, а хорошие книги читал... Над вымыслом слезами обливался...

– А всё равно – нищий!

– Хэх! Да ты знаешь, сколько у меня денег! Народ-то мрёт и мрёт – вороне радость... Я сейчас богат, как гробовщик... Пошли! Тут нас дядя Юра подхватит и скажет, куда нам плыть...

– Куда же вы деньги тратите?

– Детям голодающей Африки отсылаю! – ускорил я шаг, будто хотел оставить этот весёлый разговор за спиной. – Будто ты не знаешь, что Аня строит храм! Я эти деньги отдаю ей на раствор, на кирпичи, на всякую всячину...

– Та не летите ж, кажу, як голый в баню, дядько Петро!

– Опаздываем, Алёшка, – прибавь, кажу, ходу!

8

«... А баня та стояла в ложине у проезжей дамбы. Дамбу с будкой водозабора подпирал пруд. Вода в чаше пруда была мягкой и вечнозелёной. После того как с крыши будки нырнул и не вынырнул заика по кличке Гын-Гын, никто, кроме Гоши Чимбы, не решался повторить номер. Скорее из ужаса перед наглостью недавней гибели, чем от страха высоты. На берегу пруда отдельно от нас, черни, лежал этот Гоша Чимба – самый бесстрашный подросток посёлка на то время.

Чимба – это его самоварная кличка. Он сам назвал себя так, выкладывая эту кличку галечником на тощей груди. Кожа под камешками не загорала, и всё грамотное население могло прочесть, что этот мальчик имеет кличку Чимба. Кто знает, что такое Чимба, пусть не поленится написать мне по адресу: город Китаевск, Главпочтамт, до востребования. Чимба жил в домах, с которыми наши не дрались, обходя их, как прошлая война обходила Швейцарию. В тех домах жили урки. Большинство их детей и внуков тоже стали урками. Они, эти дети, вроде бы, и не были детьми. Они не играли в казаки-разбойники или в войну. Они не играли, а осваивали боевые ремёсла, как самоё жизнь. Их родители были отделены от государства и власти. Они верили лишь себе, удаче и крепкому кулаку. А кто не знает, что эковские драки – самые подлые и отчаянные? *Тюрьма слезам не верит.* Они ни на кого не надеялись. А Господа Бога путали с Дедом Морозом.

Так вот, Чимба жил среди них, а на нас плевать хотел, как на тангенса с котангенсом и на Бойля с Мариоттом. Своей второй жизнью он был обязан вору Шуре, и на утро следующего дня чисто одетый, коротко остриженный Чимба зашёл в нашу дворовую гавань. Воры сбивались в кодро.

Чимба сел за столик во дворе. За этим столиком по вечерам мужики играли в «секу», а с утречка уходили на работу. Чимба достал из штанин финку с наборной ручкой, с усиками и кровотоками. Он взял её в левую руку и стал вонзать её жало в столешницу между растопыренными пальцами правой. Он был левшой.

Наша команда с утра на посту по охране. Слепая Света терпеливо учит ноты по азбуке Брайля.

– Чо это он делает-то? – спросил Юра, глядя на забавы хулигана.

– Иди, спроси сам, керя...

– Ага-а... А он ножичком – чики-брыки! Ты командир – ты и иди!

– Так зачем командиру идти? Ты и иди! Ты – подчинённый!

– Не... Я боюсь. Потому я и не командир...

Вот и задача с двумя известными. Один мистер Икс, второй – товарищ Игрек. С дрожью в коленках я спускался по чердачной лестнице на лужайку.

– И тут выходит Дон-Жуан, сын Дон-Кихота с Дульцинеей. Ты кто? – спросил Чимба, не поднимая на меня взгляда. – Ты поцен или карлик?

– Чо? Поцен, конечно! – отвечал я, не в силах отлепить взора от порханий, как крыло стрекозы, стали.

– А почему у тебя усы? – Чимба пырлял финкой между растопыренных пальцев.

– Чо? А-а... Ежовику ел.

– Пионер?

– Чо? Да... это... Пионер... – отвечал я, обмирая от страха. – Юный... это... пи... это... пи...

Чимба перебил:

– Пи-пи. Ка-ка. Ням-ням. А умываться – кто будет? Пушкин? Тимур и его парчушки? – он, этот Чимба, глянул мне прямо в глаза. Взгляд этот меня успокоил. В круглых, как ягоды крыжовника, глазах ничего, кроме смеха, я не увидел. – Зубы чистишь порошком?

– Чо? Ну! А чо?

– Чокнешься скоро – вот чо. Ну, говори, поцен, наскороту: в каком сарайчике Шура чалится?

В двухэтажках ожидали дезинфекции. О том, что незаметно подкравшимся летом будут травить клопов, знали все, но никто не знал когда. Многие уже перебрались с пожитками в сарайчики и стали артельно класть летние печушки во дворе.

Я уже вознамерился показать Чимбе каморку Шуры, но, в восторге от земного счастья, с чердака высунулся рядовой Юра и не прокричал – пропел упоённо:

– Пожа-а-а-ар! Пож-ж-а-ар! Ярошенки гор-р-ря-а-а-ат!

Вот так же орал просадивший в чайной очередной аванс татарин дядя Чуфаров. Когда свалится, а мы снимем с него штаны и – ну настегивать крапивой, он тоже выл:

– Горю-у-у-у!

– Курили на чердаке, шкодники... – сказал Чимба, всё также, ни на что и ни на кого не глядя, а только на свой красивый ножичек. – Теперь вервий...

Не вервие. Вervий – это по-ихнему верёвка, петля, приговор к вышке. Но об этом я узнал позже, когда занялся плетением словес. Плетение словес – это по-нашему литература. А пока я вижу, как Юра осаживает Свету и слышу:

– Не ходи со мной, я бегом побегу! Ого! Дядь Сёма на каланчу полез! Щас колокол – дэ-дэ-э-энь! Дэ-дэ-э-энь! Не ходи, Светка, со мно-о-ой! Тебе мамка сказала, когда на работу уходила, – что? Чтоб ты сидела дом караулила! Чтоб цыганы перину не скрали-и-и! Дэ-дэ-э-энь!

Мать Светы, тётя Аня, работала грохотисткой в дробильном цехе и имела три почётных грамоты от трёх, проходящих по её согбенной спине на повышение начальников щебнезавода: Маневича, Штерна и Бэри, которого звали за глаза Берией. Как после грохотов она играла на полухромке «Подгорну», уже не узнать. Её перина перед дезинфекцией проветривалась на бельевой верёвке, обвисшей между двумя тополями.

– Я же слепая, я – сле-па-я! – объясняла Света. – Я всё равно их не увижу – цыган! Я их не увижу!

– А чо ж тебе тогда на пожар гляде-э-э-эть!

По деревянной чердачной лестнице Юра рванулся на ромашковую поляну и – далее. Света, не хуже зрячей, не отставала. И я побежал с ними на пожар.

А когда все дружно вернулись с пепелища, то перину кто-то украл...»

9

– Вот так, Алёша: пока народ по телевизору глазел на кавказскую войну, глядь – а страну-то сбондили!

– Кто это?

– Воры – вот «кто это».

– Значит, мы лохи?

– Не всякий лох плох, – говорю. – Мы лохи, но мы – лохи высокого ранга, Алёша. Нищий лох, Алёша, нравственно выше, чем, например, лох-президент. Все, например, президенты в мире – лохи. Они попрошайничают. Они берут в долг, а отдают эти их займы невинные, следующие поколения. Ты же, детка, в отличие от них берёшь, если дают. И бежишь, если бьют. А возвернуть не обещаешь...

Идём тихо, коротаем в разговорах предрассветное время.

– Вы толковый, дядя Петро! А скажите: лохи – они были всегда, например? Или как с горы на лыжах: бац! – прибыли!

– Я тебе поясню. Лох узколистый и серебристый был всегда. Это полезное эфирно-масличное растение. Лохом называли и тощего после нереста лосося, Алёша.

– Лося?

– Нет, лось – это сохатый. Лосось же – это рыба. Нерест – это икра. Икра – это деликатес. Деликатес – это нечто, обладающее тонким вкусом... Вкус – это...

Алёша сделал вид, что хочет вырвать свою ладонь из моей.

– Про лоха излагайте! Грамотно чтобы. А икру я ел...

При такой жадности к знаниям да при оранжевом ранце скитается мальчишечка-сирота по пыльным шляхам побирушничества. В моём детстве мы об этом только в страшных книгах о царизме читывали.

– А я про что? Я про лохов говорю. Могу грамотно. Слушай внимательно: по-немецки «лох» означает сразу и лунку, и углубление, и отверстие, и просто дырку. По-русски же слово «лох» имеет совсем другое значение: дурак, простофиля, профан. А ну, не шмыгай в себя, возьми платок – и высморкайся!

Он так и поступает. Я бдительно продолжаю:

– Очевидно, что слово «лох» в этом значении пришло из идиша. Идиш возник как кодированный немецкий. А «лох», что значит «дырка», издавна говорили евреи о простаче, пропустившем свой шанс по глупости. «Лох» – сокращённое от знаменитой еврейской идиомы «лох ин дер коп» – дырка в голове. Der Kopf – деркоп – дерко – дырка... Лох в нынешнем русском языке, Алёша, – это любой человек, которого вынудили к непривычной, но привлекательной и якобы мигмом обогащающей деятельности... Вот тебе примеры: обыватель и казино – это лохотрон, дурачок и деньги – это форекс, владелец квартиры и риэлтера – шулера, маменькин сынок и богатое наследство, президенты и президентство...

– Вы такой умный дядя Петя, но тоже лох. Так оно получается... – мотает на ус Алёша. – Горе от ума!

– Я не умный, а эрудированный. А эрудиция – это пустое, к уму она отношение имеет са-а-мое отдалённое. А горе, Алёша, – это в аду гореть. У нас – чем не жизнь? Воля! А у них что?

– Нет, воля, дядя Пётр, – это деньги!

– Не скажи! Денег должно быть ровно столько, чтобы их хватало не попрошайничать и оставалось, чтоб поделить с товарищем...

– Мне бы такого, как ты, папку... – говорит хитренький Алёша. – А вы на Украине-то бывали?

– Бывал. Чуден Днепр при тихой погоде – это действительно так, удостоверяю.

– Нет, вы скажите серьёзно: у нас... у них в Алма-тах бывали?

Он думает, что у меня с его мамой могло случиться дитя. Могло, Алёша. Могло, лисёнок, но не случилось. Не я твой отец. Ты говорил, что у того, кто дал тебе жизнь и погубил твою маму, была татуировка на предплечье. И, как я понял, дембельская. Он много моложе меня. Я не стану врать, что я твой отец. Я своих детей не вырастил, деревьев повалил вагон и маленькую тележку. И дома не построил. Хочу вот построить храм на земляничном лугу. Вот куда идут мои деньги, сынок... И жизнь моя исполнится смысла и спокойствия. Даст Бог, мы сделаем это с тобой вместе. А пока – молчок, старичок. И послушай бывалого бродягу. Нам осталось пройти метров четырёста.

– Россия, – упражняюсь я в риторике, – она, матушка, сейчас уподобилась царственному осётру, которого потрошат: икру берут, а всё остальное бросают гнить, – говорю я. – Однажды я сказал этим борцам с народным благосостоянием, Алёша: отдайте мне, паразиты, то, что отняли с кровью у моих мёртвых. Реституируйте, паразиты! Нет, говорят мне, такого закона. Отдайте, говорю, хотя бы землю: на ней ещё пять лет назад стоял дом моего прадеда! И тополь рос, который пращур посадил! Я вырою себе могилу на этой земле. Я не хочу лежать на городской свалке, которую вы называете кладбищем. Тополь, мне говорят, пожалуйста, берите. Так и быть. Всё равно от него один пенёк остался. А земля – это, извините, объект сельхозоборота! Это у них-то сельхозоборот! Как бы не так! И получается, как говорил Антон Иванович Деникин, что у

белых с красными земельный вопрос решается просто: кто первый в землю ляжет – того и земля... Вот так, Алёша... Но нас семью оглоблями на одном месте не ушибёшь! Кто они мне, все эти греки?

«...Раньше, когда вся эта демократическая шарманка завелась, я, доктор филологии, ездил по городам с гитарой и давал концерты авторской песни для небольшого количества людей. Чем я отличался от нищего шарманика? Потом я разъезжал с лекциями о Серебряном веке: чем я отличался от уличного факира или нищего? Кому он нынче нужен, Серебряный век? Пришла пора взрослых разочарований. А теперь, парень, у меня есть вера... Малая, но есть. Но тому, кто захочет лишить меня веры, сделать это не удастся – мимо тазика, как говорят парашютисты. Наверное, мы и до номенклатурного переворота жили как нищие, если смотреть на это глазами богатых людей. Но тогда мы верили в будущее...»

– С кем из животных можно нас сравнить? Мы кто – овцы?

– Мы – Божьи овцы, Алёша!

Он отмахнулся, сердясь:

– Сами будьте овцой! Я – не овца! Я хочу отомстить за маму!

И по щеке его скатилась за воротник сладкая слеза мстителя, увидевшего в мечтах плоды своей мести. Его мама умерла от передозировки наркотиков. Она работала в краевом центре Горнауле на «мамку»¹⁷.

– Кому ты хочешь отомстить за маму, Алёша?

– Всем... – вот так, ни много ни мало. – Кроме вас. Вы смешной. С вами весело. Вы прожили интересную жизнь!

– Во-первых, я её ещё не прожил. Во-вторых, Алёша, ничего необычного, наверное, в моей жизни не было. Всё вокруг лишь казалось мне необычным: живая тварь, железо, вода, камни... Тот же завод. Ты. Вот отвлечись от соплей и послушай финал моей поэмы «Завод». Слушаешь?

– Да, дядя Пётр!

– Ну, так слушай, пока я добрый:

...Белая собака чешется о прясло... Выйдет на дорогу, твякнет – и замрёт. В хмуром пёсьем взоре яркое угасло: снегу нет, без снега стынет огород. Небеса китаевские снегом оскудели... Встал ноябрь, как тёлка, – и ни бе ни ме... Не прядут метели снежные кудели – белая собака не в своём уме.

Родилась собака при Советской власти,
Выпало ей счастье при других харчах.
Поведёт ноздрёю, щёлкнет ярой пастью:
Не усторожила, стало быть, очаг.
Вспомнит: камышами мечутся подранки...
Утро... козье стадо... цоканье кнута...
Белая собака, призрак эмигрантки –
Конура на месте, да еда – не та...
Вот и снег задержан паном на таможне,
И свинью хозяин в мае заколол;
«Беларусь» споткнулся на пожжённой пожне
И уткнулся в пожню, как пьянчуга в стол.
В лагерной фуфайке – вата легче пуха –
Пугало пустое ловит белых мух.
Хлеба нет, собака. Снега нет, старуха.
А не то – пошла бы нынче ж на треух.
Ух, как ознобило! В банный день субботный
Вывалил хозяин на собачий лай.

*С виду беззаботный, стыдно безработный
токарь-фрезеровщик, он же – Николай.
Словно бы очнувшись от хандры постельной,
Он стоит и смотрит на трубу котельной.*

*Замер, сделал стойку, как хороший сеттер, отлетая думой во вчерашний век, где швырял он
деньги с девками на ветер, но на производство шёл как человек. Вспомнил Николаша, как был
крут и молод, как из деревеньки уходил пешком. Мог бы серп он выбрать, только выбрал –
молот. Мог квартиру выбрать, но построил дом. Вспомнил Николаша, как любил подражаться,
девушкам стихи он мог читать в бою... «Я ли вам не свойский...» Где ж вы нынче, братцы?
Может, вспомним вкратце молодость свою?*

*Белая собака, бедная дворняга
Доплелась до школы – окна не горят...
На ветру обрывки выцветшего флага
Как-то неохотно с небом говорят.
На неё с помойки глянет Менделеев:
Жил в химкабинете, а теперь – ничей...
Сколько было славы, спичей, юбилеев!
Сколько было громких сказано речей!
Дмитрий свет Иваныч! Не в песок и глину
Улеглась собака – да, ой, на твой портрет...
Не серчай на псину, почеши ей спину!
Ах, да у тебя же ручек-ножесек нет...
Рядом Ломоносов в парике, в камзоле...
Вынут из багета – что ему багет!
Вон парик потрёпан сонмищами моли...
Отзовись, Отчизна! Но ответа нет.*

*Дневники и двойки, Бойль да Мариотт,
Все с одной помойки смотрят в небосвод.
Ленин с дамской плойкой, Карла с розой треф,
На солдатской койке, задницы пригрев,
Рассуждают бойко про политмомент,
И какой тут нужен будет инструмент.*

*«Чтобы сконтганупить звёзды из губина,
Подошла б, Каглуша, гусская дубина!»*

*Вот прошёл учитель в секонд-хэнд одетый... Ишь, переживает, бедный, демократ, что
обуться нету, что одеться нету – тут и голодовка в самый аккурат. Шуганул собаку. Осмотрел
учёных. Крякнул, словно грузчик, восходя на трап. Вспомнил слово «деньги». Не имея оных,
сплюнул на след узорчатый от собачьих лап. Пусто, страшно, дико под бесснежной высью... Что
случилось в русской искренней судьбе?*

*Белая собака,
бедная собака
потрусила рысью
К заводской трубе...
ЭПИЛОГ. ТРУБА
На заводской трубе написано цинковыми белилами:
«Всё удобно, что съедобно!»*

«В детстве у Вити был калейдоскоп, а у Коли его, калейдоскопа, не было. Чтобы поглядеть в тубус, Коля отдавал Вите кусочки комкового сахара, и пока тот грыз сахар, Коля смотрел на чарующее чередование цветных черепков в зеркалах тубуса. Кругом цвели поля, пели утренние птицы, играло солнце на небеси. Коле было чихать на всё это – он смотрел в трубку. Он был голоден, но счастлив. И он умер от голода, но с улыбкой счастья на лице и с картонной трубкой в кулаке. Витя долго разжимал кулак Коли, чтобы забрать игрушку у мертвеца, который так и не стал взрослым. Разжал – и к ногам его упал цветной телевизор. Аминь».

– ...Это вы сами написали? – Алёша давно стоит, и я стою. Он смотрит на меня зачарованно, не хуже, чем тот рыбаглазый вор из вчерашнего боевика.

Я расшаркиваюсь и развожу руками.

– Вы – этот... поэт?

– Нетушки! Я прозаик, иногда пишу стихи. Чтобы не потерять чувства ритма. А поэт – это такая самозаводящаяся игрушка. Накрутит сам себе пружину – и давай за девками, как ты вот, гоняться! И жужжит: я пишу для себя, я пишу не для славы! Так вот и жужжал бы для себя!

– Эх, зачем вы, дядя Петя, возитесь с покойниками? Зачем? Как вы потом исть-то садитесь? – он, похоже, ненавидит меня сейчас. – Эх! Если бы я мог так написать! Разве я ходил бы с этим... – он срывает оранжевый ранец со своих узеньких плеч. – Зачем вы-то... так, а? Я... я... Мне надо питаться, расти... А вы... Нате! – бросает он к моим ногам свою котомку.

Это не произвело на меня сильного впечатления.

– Стоять! – властно сказал я и указал на ранец цвета будущей украинской революции. – Подними! – Отвлёк таким заявлением его внимание, схватил его за плечи и прижал к себе, потому что проясняется утро, и хайвэй полнится скоростными, летящими, как пьянь на ларёк, иномарками.

Алёша глушит плач будущими мужскими стонами. Вот она, достоевская слеза ребёнка, падает на бетонку, где ничто не прорастает, но всё умирает. Я и сам-то едва не плачу.

– Будешь жить при мне, аккатоне. Тетя Аня нравится тебе заочно, да, я знаю. Но она меня, я считаю, бросила. Она – религиозный фанатик. Она будет молиться до тех пор, пока я не расшибу себе лоб.

– Нет, вы глупый... Глупый, хоть и лекции кругом читаете. Она вас, вас любит!

Он плачет ещё сильнее и трясётся, как вибромолот. Нам тревожно сигналият из машин. Я отмахиваюсь свободной рукой. Мы стоим посреди оживающего хайвэя, как рассекатели.

– Не бросай её... – тоненько, с хрипотцой, как обесточенный, говорит он.

– Ты думаешь, я умный? Как бы не так! Хоть и знал в твоём возрасте, где находится озеро Баскунчак.

– Это не озеро – это фамилия такая, – с большой уверенностью ответил Алёша. И мы двинулись дальше в щель автомобильного потока.

«У нас с Аней сын, Иван Петрович Шацких. Куда же я его брошу? Самого скорее бросят. Ванюшка останется с ней. А я вряд ли переживу это одиночество, не старые, чай, времена – времена молодости».

Мог ли я объяснить ему, что со мной произошло то, чего не просчитаешь ни на одном компьютере. Аня возомнила себя самой грешной из женщин на земле, забывая, что я-то, горемыка, полюбил её со всеми теми грехами, что в девичьей юности на кривой козе не объедешь, когда страшно сказать правду и сказать её некому. Сто лет назад можно было бы сказать, что я полюбил её за родство душ. Мы были, как мне казалось, одной душой и одной плотью. Я мог бы сказать Алёше:

«Мы, Алёша, уже пять лет как венчаны. Я не говорил тебе об этом, чтобы не ранить своим

благополучием, чтобы не повис между нами грузный и грустный вопрос: почему бы тебе не пожить у нас? Это не мой дом, Алёшка. А сейчас мне неизвестно и то, кто я сам в этом доме.

С венчания мы ехали на велосипедах. Сухо потрескивала в небе ещё не видимая гроза. С лица Анны не сходила задумчивая мягкость.

– Смотри на дорогу, Нюся! – тревожно говорил я. Но нет – она смотрела на меня.

Потом мы сидели у раскрытого окна её учительского домика, но она опять на меня смотрела.

– Ты – мой герой, Пётр... – говорила мне она. – Если с тобой что-нибудь случится, то я уйду в монастырь.

Ах, милый ты мой Алёшка, друг ты мой, надежда! Кого не тронули бы такие слова! Ты знаешь Анну по моим рассказам и знаешь, как она надёжна и что цена её слов – очень высока. Она из тех редких женщин, которые, сами того не сознавая, видят в мужчине его суть, которая не выражается ни благолепием лиц, ни рельефом мышц – она человек небесный.

– Давай с тобой построим храм! – продолжала говорить она. – И ребёнка, которого я рожу, будем причащать в нашем храме!

Я не мог не согласиться – всё, что она говорила, звучало здраво. Мы и родили ребёнка. А с началом возведения храма моя жизнь, которую я полюбил с новой силой, выходила на высокий душевный круг, откуда можно лететь выше и выше.

Как-нибудь я расскажу тебе о том, по каким кругам административного ада она прошла, прежде чем получила землю под строительство, как она выходила болезнь суставов своих красивых ног в хождениях по нищим деревням с ящичком для пожертвований. Люди в окрестных деревнях знали и чтили Анну, отрывали от себя крохи, они клали их на алтарь новостроя. Привычный мир пылал в адовом огне, они строили свой ковчежец. Дело шло.

Когда-нибудь, даст Бог, я напишу об этом роман. Но она, моя заповедная Анна, мой деревенский ангел, она отдалилась от меня и живёт теперь где-то высоко-высоко среди лун, иных светил и птиц небесных. Так стало мне казаться. То есть я могу потрогать её рукой, как твой глухонемой мальчик свою Жирную Хромосому, но её нет со мной. Говорят, что тот, кто не строил храма, не знал искушений. Она ушла из выморочной школы, где уже больше года не платили даже мизерного жалованья. Всё своё время отдавала занятиям с детьми на дому, хлопотам о храме да молодому вдовцу о. Христодулу – своему духовнику, которого назначили сюда вместо старенького отца Глеба. Она с диковинным для моего понимания постоянством исповедовалась ему, а это значит, что она не оставляла мне ничего, кроме усталого тела. Не терплю я усталых женских тел. Мне не кажется благим делом любовное истязание усталого тела. И не выдержал я, и воспринял Анну не как дар Божий, а, похоже, как реванш за бессмысленную жизнь до неё. Увы – реваншизм ведёт к зеро. Это я нынче просветился, а полгода тому я закатил Анне страстный монолог. Навязал лыка, похожего на бред ревности. Заболел старостью.

– Ты ревнуешь, но он же священник! – сказала она с большим терпением. – Может быть, у тебя жар?

О, погоня за уходящим поездом жизни! О, Хасбулат на обезножившем скакуне! А он, бес-то, меня и давай крутить. И давай пускать серный дым на святые иконы. Во мне помутилось, померкло выстраданное: вне веры православной не может быть ничего, кроме пустоты. Там – чёрный, как в угольном штреке, тупик. То есть во мне нарушилось обретенное в тяжёлой дороге соотношение вечной борьбы двух начал человеческой природы: духовного, данного людям Богом, и телесного, данного дьяволом. Вся чернота, вся муть изверглась из меня, но не иссякала.

– То, что он священник, отнюдь не значит, что он не мужчина и не жеребец! – кричал я, презренный. Но ведь так оно и есть? Он ведь не монах, да и монахов, бывает, отчитывают.

Она с отчуждением смотрела на меня и не искала слов:

– Он вдовец, он схоронил молодую жену! Ты не знаешь разве, что священнику не положено жениться дважды и что жениться он может только на девственнице?

– Мало ли что людям нельзя делать, но делают же! Делают, да ещё как! И что: для этого обязательно жениться надо? – высказывал я свои прямые, как дышло, доводы.

– Какой бред! – помолчав, выразительно сказала Анна. – Так ты мне Бог знает что внушить можешь! Тебе не стыдно? Я не знала тебя таким...

– Так знай же! Знай! – ревел я, и будь у меня под рукой ружьё, я бы, грешный, застрелился. – Я тоже не знал тебя такой! И я хотел бы, чтобы ты чаще бывала дома! – Будь у меня под рукой штык – вспорол бы все брачные перины, а пух развеял бы по степному ветру. А надо было говорить: прости, милая – так гнёт меня предчувствие телесного краха...

Ни ружья, ни штыка не было. Тогда, приравняв к штыку перо, я написал гневное письмо её духовнику о. Христодулу.

11

Вот приблизительный его текст:

«Здравствуйте, батюшка. Благословите. Вы знаете, что мне тяжело ходить пешком, и потому, надеюсь, Вы правильно поймёте мое обращение к письму, а не к очному объяснению. Как писатель, я хотел бы прояснить для себя Вашу позицию по одному из насущных вопросов из сферы супружеских взаимоотношений двух православных людей, моих знакомых. Он – достаточно известный и уже немолодой литератор, сочинитель песен под гитару. Человек он не то чтобы умный, но тонкий и проницательный. Не очень умный, но супруг (назовём его П.) всё больше и больше влюблялся в свою разумную супругу (назовём её А.), радуясь воле небес и тому, что жизнь обрела наконец ясность и высокий смысл. А однажды А. и П. решили построить православный храм на цветущем поле. Они светло и горячо взялись за дело. И дело пошло. Да вот беда: чтобы хоть как-то содержать семью и дать неработающей своей супруге заниматься строительством храма, П. должен был непрерывно прирабатывать, зарабатывать, отъезжать в далёкие города с концертами и лекциями. Потом он стал прилично зарабатывать, читая Псалтирь под покойными. И, возвращаясь усталый домой, наш писатель – человек не очень умный, но одарённый тонкими эмоциями и художнической сверхпроницательностью, встречаем был едва уловимой для стороннего взгляда остудой и охладой. Он отрывался на многие сотни и тысячи километров от дома, чтобы вернуться туда с вечными чувствами фронтовичка. И нетрудно, батюшка, наверное, вообразить себе душевное смятение этого бедолаги-фронтовичка, когда он рассчитывает на естественную супружескую близость, а в ответ слышит от своей Пенелопы: "Сегодня нельзя, сегодня среда, милый!" Или: "Нельзя, Одиссеюшка, – пост-с!" – "Ах, Боже ты мой Боже, какая святость! – думает фронтовичок в умилении чувств. – Ничего, переждем..."

Но кончается пост – начинаются регулы, кончаются регулы – начинается среда. В четверг – она устала. В пятницу – далее, по неразмыкаемому кругу. Фронтовичок – опять на войну. У него уж и ноги не ходят, и нервы, и сомнения, и страдания неразделённой любви. Вернётся: где моя валерьянка, моя маун-трава? Он видит – остуда, охлада. Пропать между супругами ширится и острозубится. Вещи, которые ему по-своему дороги, раскиданы в полном небрежении, на рабочем столе – чёрт ногу сломит, а уж про обеденный – помолчим. Какой там! Супруга ведь строит храм! Он, П., уже вроде бы и не при деле. И он уже пишет мне, как я – Вам. Мол:

Я прихожу домой после большого житейского отвращения. Говорю жене: может, постелишь постель, как в песне поётся? Она: "Среда-а-а! Пя-а-тница-а!" Вот она, любовь лоха! Не проще ли сказать: "Так, баба, шабаш! У тебя пятница, а у меня был трудный день. Мне не до тонкостей!" В этом обугленном мире приткнёшься, бывает, к любимому существу – и весь отдых. И курорта не надо. "Дай-ка денег, я быстренько сбегаю на ферму к дояркам за эрзацем типа жмых! А через пятнадцать минут – обратно!" Она говорит: "На-а! Только не вводи во искушение!" Нет, этого "на" ему не надо. Он сигарету в зубы и на чердак с песней: "Сигарета, сигарета, только ты не изменила!" А на чердаке курить опасно во все времена, а особенно во времена диктатуры либерализма. И это, отче, тот самый венчаный брак, к которому призывают нас наши молитвенники?

"По мне бы – таких змеюг убивать надо, чтоб мужиков не портили, когда в стране убывает в год по полтора миллиона голов!" – пишет мне благовоспитанный мужчина П.

Чувствуете, батюшка? Сменился лексический строй! То есть неплохой человек, не йети какое-нибудь, теряет последнее в своей земной жизни лицо. Кому это выгодно, как

намекали древние юристы из пруденции?

Далее. Она действительно много и успешно работает, очень устаёт, но что-то в этом месте сильно пахнет фанатизмом и трагическим фарсом. Вернувшись в очередной раз с передовой, наш фронтовичок читает на заборе, что он – откровенный рогоносец. Раньше дёгтем писали подобные изречения, тут – краской из баллончика, что, очевидно, удобней. Дёготь – тот пока выгонят, да то, да сё. А баллончик перед дёгтем – он как космическая ракета перед сивкой-буркой. Но фронтовичок верит жене. Он не верит надписи на заборе. Однако по дальнейшему его «регажу» на развитие событий можно констатировать всё же факт очередной тяжёлой контузии П. Он стал смотреть на свою жизнь, несколько изменив угол атаки своего зрения. Повторяю, это следствие сильнейшей контузии, всего-то-навсего. Нуждается человек в лечении лаской энд заботой. Иначе свои химерические сны и заблуждения человек переживает всё острее и острее, нежели реальность. Это болезненный аутизм, батюшка, страшной некуда. В искреннем своём заблуждении П. может зайти так далеко в инобытие помешательства, что дурдом станет его кровом, прибежищем, дурной реальностью. Тут А. скажет мужу: надо, мол, молиться, причащаться! И, наверное, будет права, но отчасти. Потому что она путает причинно-следственные связи. Ведь П. был совсем не против того, чтобы выстроить храм. Более того, он делал в помощь ей всё, что в его немощных силах. Но он, П., против того, что платой за его добрую волю станет отсутствие в семье супружеской близости и человеческого, а не скитского общения. П. – человек, может быть, излишне чувствительный, и не совсем здравомысленно реагирует на происходящий пожар семейного очага и оттого выглядит смешным, нелепым, слабым. Но не любовь ли, к которой призывает нас Христос, делает мужчину сильным? А время для П. имеет уже ход со знаком минус. Его всё чаще посещают мысли о добровольном уходе из жизни. П. – писатель, это то единственное, что позволяет не считать себя лишним на этом пиру духовности. А. звонит:

– Что делаешь?

– Пишу.

– А-а, пишешь! Вообще-то, надо рыбу чистить, завтра праздник, к нам батюшки придут... Ну, пиши, пиши.

Да, ёдрена же фенюшка, батюшка! Большая половина деревни баб-прихожанок – и рыбы почистить некому! Они что: все до одной разделяют убеждения г. Арбатовой типа Новодворской? Отчего же так таинственно? То есть то, что делает жена, – это высокий смысл её жизни. На здоровье! Но делать из мужа мальчика на посылках – это, извините, у него бы спросить неплохо: желаете ли, кормилец, бысти заживо замурованным в фундамент храма? Неплохо, да?

Поскрипит бывалый мужчина и муж П. осями, членами и сочленениями и, чтобы не впасть во грех малакии, уходит из дому куда-нибудь, где уже умерли. Работа у него такая, ея много. А в развитие отношений между венчанными супругами можно увидеть следующую картину:

– Дай, жена, свежее бельишко в дорогу!

– Ой, П., совсем трусов не осталось! Только женские!

– Хорошо. Давай женские, но свои. Слава Богу, что хоть не мужские, но чужие!

И уходит бедный П. в степные деревни хоронить своих мёртвых, одетый в женское исподнее. Читает он девяностый псалом, а сам об этом своём слабом соответствии Богоданному полу думает.

В детстве я увлекался элементарной логикой. Вы тоже, надеюсь, изучали эту дисциплину. Скажите мне теперь, отец Христодул: хорошо ли, когда религиозный фанатизм одного из супругов разрушает семью и супружеские чувства? Во славу ли это Божию? Похвально ли для замужней женщины, имеющей маленького ребёнка, денно и ночью биться лбом, отбивая поклоны, творя в доме запустение и раздраз? В наши дни очень легко воссоздать внешние формы богослужения, но при этом опустить его цель и смысл. И как насчёт послушания Духу Божьему? Не можем ли мы просто следовать за Ним, позволить Ему вести нас, или же мы жёстко связаны уставными формами, правилами и не в монастыре, чай, живём. Ответьте: можно ли делать доброе дело, ломая мир и лад в семье? Не гордыня ли это? Вот говорят: кто храма не строил, тот не знал искушений. Но зачем же эти искушения надо подогревать ещё и супружеской

холодностью, запущенностью в доме? А всё это прячется за правильные слова из Священного Писания. А где же "печального утешить?" А "неисполнение в свое время данного слова?" А где же заповедь: "жена своим телом не владеет, а владеет муж?" А "усиление каждый раз раздора с мужем?"

А "искание и достижение господства над мужем?" А "супружеская ревность с одной стороны, а с другой – нехотенье прекратить поводы к ней?" Разве православная жена не обязана, как нечто само собой разумеющееся, исполнять эти заповеди, батюшка? Чем же А. отличается в таком случае от рядовой злобствующей феминистки или от стервозных персонажек Григория Климова? Разве то, о чём я пишу, это не разновидность женской стервозности? И где радость – не надо счастья!

Вот совсем недавно, пишет мне П., супруга его ходила на свадьбу, куда почему-то не пригласили её мужа. Где гарантии, что завтра она не пойдёт с мужчинами в баню во имя Божие? Прошу вас ответить мне, а я уж передам ваши слова несчастному, не очень умному, сильно контуженному фронтовичку П. При всём при этом он хотел бы знать: как же так случается, что один храм мы строим, а другой – разрушаем? Церковь – это Мать. Так может ли любящая Мать доводить детей своих до таких тягостных недоумений? Владыки святые! Я что, почемушкой должен быть до гробовой доски? Плачу, вопию, вопрошаю – и нет ответа. Вот и храмы нынче, как правило, заполнены, особенно в церковные праздники. Но живость чувства веры не исключает сбитости с толку, незнания, где искать домашнюю свою правду. А вследствие этого, батюшка, – простите уж меня, грешного! – происходит ослабление нравственного личностного влияния православных иерархов на своих прихожан. Я лично, наблюдая клинику описанных мною супружеских взаимоотношений, уверен в том, что не одна православная семья развалилась вследствие чрезмерной эксплуатации церковью религиозного чувства женщины и отторжения мирянки от её прямого назначения – служения своей семье.

Дерзнул написать Вам теми же словами, на которые подвигнул меня Господь. Потому что с тех пор, как воцерковился, перестал ругаться матом.

С искренним уважением раб Божий Пётр».

То есть я ревновал, я ревел, как буй-тур, как театральный мавр, испачкавший лицо серной кислотой вместо морилки, как человек, очнувшийся ограбленным в несущемся на южный курорт поезде.

Я считал то, что произошло с ней, Алёша, религиозным повреждением ума, когда послушание и смирение граничат с гордыней. Меня бесило, что теперь у Ани на всё есть ответ. За неё, как в армии, всё решают командиры. Но вот командир – увы! – не я. Я – досадная, логически мыслящая помеха. А поскольку женщина не может быть бесхозной, то её хозяином, конфидентом и наставником стал молодой священник из новой волны. Ты бы видел, какими глазами она смотрит на своего пастыря! Всё моё матёрое, бродяжье одиночество начинает сгущаться. Мне хочется быть, как одинокому волку. Иногда я и вою. Попросту говоря, Анна стала всем, что дорого мне в жизни. Но теперь я смертельно болен. И зачем я ей, которой нет ещё и сорока лет? Надеюсь, она похоронит меня в этой степи, облегчится – спасибо и на том. Но далее идти по миру аж до самого Крыма и Рыма, как раньше, я уже не могу – нет сил. И хочется жалости к себе, как после вечного захода солнца. Но людям, Алёша, безопасней жалеть героев книг и персонажей киносериалов, или уже мёртвых людей, или кошечек и собачек.

Правильно говорят батюшки: возлюби ближнего своего, как самого себя. Только какое же, батюшки мои, «возлюби»? Любовь как вера: или она есть, или её нет. Можно ли возлюбить из чувства долга? Но-о, детка, – видел бы ты их, этих неразлучников – «Х. плюс А», как пишут на заборах! И я знаю, что как бы ни лгала себе женщина, но мужчина – её земной бог. Об этом и в уставе церковном говорится иносказательно. Но женщина, как ни странно, вечная язычница. Она даже не знает тёмных глубин своего лицедейского дарования! Ничто уже не остановит бабу, когда она почувствует манящие огни житейской рампы. А когда религиозный пафос смешается в её сознании с любовным помешательством, то её не остановит ни память о прошлом, ни судьба её ребенка. Это у них называется «сладость греха», поскольку внецерковный человек вообще не осознаёт греха. Она не понимает тогда, что выбросить – иначе говоря аборттировать, – исключить

от живой жизни мужа или уже рождённого ребёнка – это, я полагаю, нисколько не меньшее зло, чем убить невинного человека. Привычный муж протух и завонял табаком, как нечестивец. И тут ей Господь не советчик! Он свой парень. Пойдёт она к тому же о. Христодулу, исповедает грех: что, скажет, делать-то было, отче мій? Не нужен мне стал муж мой венчанный. Посты не блюдёт, на стол ему, как официантка, ставь. И ещё чего требует, лохмаче тулупа. Нет, отче! Одного Бога люблю. В монастырь уйду. И всплакнёт ему в рясу, как некогда в моё плечо. Влупит он ей послушание. По силам. А нет чтоб сначала хорошенько рассудить, кому ты вручаешь себя в послушание и куда поведёт тебя этот человек. Так что эта парочка – Аня и о. Христодул – играют и доиграются. Они построят ещё пяток храмов, им всё Господь простит с запасцем. Но храм моей души, Алёша, они превращают в руины. Когда я начинаю рисовать себе картины своего мужнего будущего – в голове мутится, сердце теснит.

Бог, Алёша, – это Бог. Люди, друг мой, – это люди. Есть среди них и волки в овечьих шкурах, даже и митрофорные. Знай и не путай. А я знаю.

До поры я бесчувственно относился к чёрному коту Анны. Кот – он и есть кот: смышлёный, ловкий, ручной. А однажды вдруг отметил, что хочу взять его на руки, уткнуться в его пушистый загривок. Почему? Потому, что оба мы с ним для Анны – домашние животные. Только ты, друг Алёша, не подумай, что я неверующий. Просто у многих из людей изуродован понятийный аппарат, и его, как иной банан, в ухо не вставишь. А у меня он не изуродован: ведь, чтобы правильно поступать, нужно правильно понимать.

И кто я с этим нечистым духом: сумасшедший странник перед – ого-го! – высотой духовной жизни Анны и о. Христодула, Алёша? Кто я для них, для людей, наследующих не эту разорённую землю, за которую я бился до полной потери сил, а Царство Небесное? Кто я со своим простым желанием покоя и лада, тихой любви и щебета детей, со своим любимым табаком и дурной привычкой к писательству? Аз есмь червь. Ползём дальше, господа юные натуралисты. Что бы нам, бездуховным, и не поползать?

Так я думал. А в воскресенье поеду к своему духовнику – тошно мне жить, Алёша. Мне стало с Аней гораздо сложнее, чем некогда с механизмом имени Калашникова. Может быть, я и писателем стал оттого, что всегда бежал от действительности, не сознавая этого, жил бегом, жил в слове. И вдруг – стоп! – вот она, действительность. Я сделал в ней остановку, но сегодня, чтобы стоять на месте, нужно всё время бежать... Разумеется, всего этого я Алёше не говорю.

– Да она, может быть, и не пойдёт за нас! – только и говорю я Алёше, вдогонку теням своих невесёлых мыслей. – Я старый, ты малый...

– Она пойдёт! – горячо говорит ребёнок и вдруг целует мою руку.

– Кто это тебя научил руки целовать? Что люди подумают?

– Вы же священникам целуете!

– Так священнику – положено! Он – духовное лицо!

– Это вам! А мне, так вы – духовное лицо...

– Тьфу на тебя! Совсем от рук отбился, бродяга!

Нам сигналият из проезжающих машин. Выглядим мы с Алёшей посреди бетонки странно, но прилично. На мне шикарная куртка и малиновые ботинки, Алёша – со школьным ранцем на спине.

– Братья и сёстры! – громко и внятно кричу я людям в автомобилях. – Среди вас врачи, учёные, учителя, музыканты, инженеры бывших оборонных предприятий, офицеры, преданные командирами, инвалиды войн, детства и труда – все категории и слои населения, на чьих плечах держалась страна. Наш дом – Россия – разорён и перезаложён! Все вы нынче – нищие, господа, а не одни мы с Алёшей!

И Алёше уже весело, он хохочет, как на рождественской ёлке в детском доме.

Ах, нам бы с Алёшкой, с Аней и Ваней деревенскую бы усадьбу, эти кусты акации, тенистые аллеи, кисейные занавески на окнах и жужжание пчёл над цветами жасмина! Где ты, мой тихий некогда Китаевск? Куда сплавился по реке времён? Где серебряная чешуя многая рыбы? Где чёрно-пёстрая корова Пятенка с печальными глазами индианки?.. Где сороки с воронёным опереньем, которые ранней осенью слетались на музыку моего магнитофона и устраивали воздушные танцы?

Но – чу! Тишина...

Наверное, господа учёные собрали ядерную бомбу из запчастей, которые скоро поступят в свободную продажу.

12

Мы стоим и ждём Медынцева на первой автобусной остановке городской окраины. Алёша мучается: видно, хочет закурить, но стесняется меня. А я приплясываю на холодке, примерно не курю и продолжаю мысленно обзор своего доклада, который за пятьсот долларов напишу всё же для президента Лиги нищих Юрия Сергеевича Медынцева. Куплю новый германский велосипед, а остальное положу на блоки для возведения храмовых стен.

Алёша вещает. Действительно, что это за бубенчик? Это голос Алёши. Он рассказывает мне про свою влюбленность:

– ... Она с ним ходит, как Хромосома Жирная, он её за всё руками – хап! хап! А я бы её любил, руками бы не трогал! Нет, она с ним! Вот у меня в сумке – всё чистое! Ногти – стригу, зубы чищу, дезодорант – ношу! Ну чем, чем он лучше меня, дядя Пётр? Он ворует – я нет! Я только Христа ради прошу, причащаюсь, исповедуюсь! Почему ей вор дороже нищего?.. – слышу я голос Алёшиного одиночества.

– Правильно, Алёша. Если женщину любишь, то руками её лучше не хапать! Но, может, у него голос толще и доходы выше? – говорю я на это. – Или, может быть, язык лучше подвешен! Может быть такое?

– Да нет! Он вообще глухонемой!

– Значит, Алёша, она его жалеет... Он, может быть, заменяет ей собою куклу! Подрастёт вот, одумается.

– Кто? Она?

– Она! Смотри: солнце взошло! Хорошая примета, Алёша! Значит, вопрос слива режима в Кремле – дело ближайшего времени. Тогда определим тебя в школу, где кормят бесплатными булочками с маком.

– Да... – кривит лицо Алёша. – Мечты одни... Вам, может, школа тоже куклу заменяла!.. Учились на десятки, дядя Петя, а вас кинули, как лоха!

Я останавливаю его и даю звучного щелбана.

– Всё, терпению моему есть предел! Получай, паря! Во-первых, у нас были пятёрки, а не десятки. Во-вторых, солнце взошло! А я помню солнце на баррикадах, да! С тех пор октябрь – священный для меня месяц. Так что я не готов слушать твои циничные реплики!

– Священный? – чешет он лоб. – Всё у вас священное, я смотрю!

– Да, священный. Вот и смотри. Ровно десять лет назад, когда ты ещё не был влюблен в Жирную Хромосому, воровское буржуйское кодло с мясом и кровью вырвало у народа сердце!

– Да ладно вам!.. У вас буржуйки были? – он слюнявит палец и трёт им уши.

– Была...

– Как её звали?

– Печкой её звали, вот как её звали... Не домна, не мартен, а именно – буржуйка...

– Нет, не то! Иностранки у вас были?

– Казашка была!

– Тю-ю-ю!

– И одна немка!

13

– ...Ну, кто лучше – Чимба или я? – спрашивал я, закуривая для форса. – Кто, говори?

– Он...

– Ну, а чо ж ты тогда?!

– Ничо... – пожимала плечами юная немка Лиза Кёних и привставала на локоть, нависая над моим лицом. – А чо? – щекотала она моё лицо кончиком русской косы.

– Да ничо! – туша окурок о железную боковину койки, сурово отвечал я. – Немецкое отродьё!

Мне было четырнадцать лет, ей семнадцать. Она подкладывала язык под щёку и начинала что-то там царапать, раскапывать, как альпийская сенбернарша.

– Ну, а чо ты тогда? – продолжала она тему. – Хочешь: вместе сфотаемся? Скоро фотограф придёт...

– Да ты чо! – пугался я. – А если кто увидит?

– То-то! Чимба придёт – кишки размотает! Слыхал песню: брюхантина распускает паруса?

Она лукаво смеялась. Глаза как два дефиса. Ямочки на ланитах как скобки. Бугорочки как куполочки. Нет, всё же она меня частично любила.

...Когда Чимба вернулся с «малолетки», он не стал никому разматывать кишок. Он швырнул её под своих недоумков. Это у них называлось тогда «пустить под транвай». Бедная Лиза Кёних! Теперь она, вероятно, счастлива и живёт в фатерлянде...

Я продолжаю говорить Алёше:

– Да, солнышко! Взшло как по нотам! Что, разве не видишь? Добри ранок, панычок!

Алёша горько вздыхает, добывает из потайного кармана куртки зажигалку и начинает ею щёлкать, говоря:

– Что мне солнце... – сам на меня поглядывает. – А вы ноты-то знаете или так?

– И так, и этак! Я же пою на клиросе, а раньше пел свои концерты! Ты бывал в театре? Нет? А ты хотел бы летать, как птица?

– Не хотел. Зачем это босиком-то да по репейникам?

– Ты прав. Не мужицкое это занятие. Может быть, двести лет назад... Хотя... Юра же Медынцев стал неплохим артистом! Заслуженным! Вот мы с тобой стоим, незаслуженно ждём его.

– А дядя Юра, он что – артист?

– Так уж получилось. Видел фильму «Советник из тьмы»? Не видел. А когда мы были твоего, Алёшка, возраста, то нас хоть и силком, но регулярно возили в театры краевого центра. В оперетту. Или в Театр юного зрителя. И вот однажды мадам на сцене поёт так с укором: ой, мол, Мыкола, ты, Мыкола... А он ей тоже с обидой, будто стыдит: ой, мол, ты, Олеся, мол, Олеся... Пока они так препираются, мы с Юрой Медынцевым идём в театральный буфет и пускаем слюну на великолепие витрин. Потом набиваемся помочь буфетчице потаскать ящики с песочными коржиками. И всё отделение распиваем лимонад с песочниками. Она нам дала их бесплатно. «Бесплатно – вот эт-то да-а-а!» – говорю я Юре. А он мне: «Думаешь она нам дала бесплатно?» – «Ну, денег-то мы же ей не давали?» – «Денег-то не давали. А труд?» Понимаешь, насколько он умней меня? Я говорю: «Дак, это чо за труд! Разве это труд... Это ж тебе не поля окучивать, не воду с пруда коромыслом по сто вёдер...» – «Ты ещё мал и глуп и не видал больших заслуженных артистов, керя, – учит Юра. – Она свои губы помадой накрасит, перо в чернилку умакнёт и эти песочники спишет на утреску. Придёт домой и ещё в сумке принесёт своим короедам. То бы ей грузчику на бутылку давать два двенадцать, а тут мы – два дурака. Понял? Икономка какая!» – «Нет, – говорю я. – Она добрая». – «Добрые, керя, это мы с тобой. А она умная». – «А ты откуда знаешь, что спишет?» – «Дак у меня же родная тётя, мамкина двоюродная сестра, здесь, в Горнауле, живёт! Она в продуктовом киоске работает...»

Я не стал рассказывать ребёнку, что мы заговорили с Юркой о женских телах.

– ...Моя тётка такая муля! – сказал Юра, оглядывая гипсовое изваяние голой римской женщины в радикулитной позе. – А вот у этой, каменной – что? – он указал на статую и поскрёб её пальцем. – Фурункула слева, фурункула справа! А ну, Петруха, покарауль!

Встал на цыпочки, засопел, потрогал холмы.

– Твёрды, – говорит, – как скалы...

Потом пошли смотреть и трогать руками другие голые статуи.

– Чо они голые-то, а? Баня сгорела? Или хламиды кто украл, пока они банились...

– Царизм их раздел! – просвещает меня Юрка. – При царизме народ жил очень бедно, Петруха. Потом родился Ленин и – вот! Видишь? Все обуты, все одеты. Нос в табаке. Ливер не бунтует. – Потом вскинул брови, почесал под пряжкой школьного ремня пуп и говорит: – А ведь у вашей Аньки – тоже есть... кое-что!

Будучи идеалистическим подростком, я стукнул его легонько за честь сестры. Он не ответил мне, а только со свистом втянул в себя воздух, почесал затылок и оправдался:

– Я ни причём! Я не трогал...

Мы шли дальше, но трогали уже пунцовые и синие бархаты портьер.

– Бархат?..

Сказка.

– Бархат...

Сказка!

Приблизительно так же мы с ним проводили театральное время и в тюзовском буфете. Кто знал тогда, что Юра Медынцев станет известным артистом, а потом создателем корпорации пишущих всея Руси.

– Тётъ, может, что поднести?

А на сцене лётчик Николай Гастелло направлял горящий самолёт на колонну вражеской техники. Невидимые артисты в оркестровой яме дули в трубы и били в литавры с таким пафосом, что песочники в моей глотке застревали. Я ещё не знал тогда, что законно пью ситро, что всё оплачено, поскольку перманентные революционеры обобрали моих дедов, прадедов, родителей, меня лично и героя Гастелло на поколения вперёд. Конкретно могу назвать фамилии главарей последнего полутора десятка лет. Они все при деньгах и на свободе...

Оркестр детского театра продолжал звучать в моей памяти, когда я услышал голос Медынцева.

– Э-й! Петюха-а-ан! Алеха-а-ан! Сюда! – кричит он из окна «мицусиби», похожей на благородно-синий эмалированный чайник из нашего детства. Машина стоит на той стороне хайвэя стратегического назначения – это метров пятьдесят по прямой. Зачем же мы переходили через бетонку, как русское войско через Альпы? Рано, авто ещё мало.

– Идем, Алёша, обратно. Напомни мне позже, что надо подать муляву в Гаагский суд от имени всех нищих новых суверенных держав! – говорю я, пока мы вновь пересекаем широченную бетонку. – Зачем вожди, которых я лично не выбирал, превратили в прах мою страну и в горстку трубочного пепла – мою светлую память о ней? Это они, чиновные воры, пиявки болотные, отняли у меня время моей жизни! Это они, упыри, в отличие от Бога, слепившего из праха человека, слепили из человека прах!

– Ого! – радостно, именно радостно, смеётся Алёшка. – Здорово говорите, дядя Пётр! Вот бы мне так научиться!

Мы с ним как родня – старый да малый.

14

– Здоровеньки булы, керя! – говорю я Юре Медынцеву. Алёша бросает ранец на заднее сиденье и лезет следом, а я сажусь рядом с ним. – Тепло здесь у тебя. Вот рассказываю Алёше про дядю Сашу Шуйцына. Ты помнишь Шуйцына дядю Сашу? – спрашиваю я своего вечного друга, перекрестив лоб.

– Мюнхгаузена-то? История! – смеётся розовощёкий Юра. – Да век не забуду, керя! А ты знаешь, что он, оказывается, даже бегло читать не умел? А шкаф-то этот с книгами у него стоял как акция прикрытия!

– С чего это ты взял? Хотя Буш-младший, говорят, тоже не умеет читать.

– Бушу читать не обязательно, у него советники. А я встретил Жеку Шуйцына в Москве. Недавно. Выпили по чутушке, вспомнили нашу территорию. Он сказал: тятя, говорит, ни читать, ни писать не умел. Притворялся. А книги ему завещал маршал Рокоссовский, которому батя, мол,

спас жизнь. Завещал с условием, что тот читать научится. «А зачем ему было читать? – говорит. – Он и без того видел "гад подземных ход"!»

– Во-о-от! Ты ему верь! Жека ещё тот Мюнхгаузен, сам дядя Саша бы шапку снял!..

– А ты не думаешь, что дядя Саша юродствовал, Петюхан? Что все наши советские чудики – это русские юродивые?

– Недосуг мне думать, – говорю. – Днём думай, ночью думай, в степи, в постели думай. Ты у нас думай, а у меня работа...

– ...Скажи, керя, сколько же из нашего посёлка больших людей вышло, а? – слышу я голос Юры. Но дремота клонит голову, и, приваливши её на сгибы локтей, я закрываю глаза. До места ехать ещё около часа. Но сон не идёт.

– А сколько их оттуда не вышло? Ты Улю Медный Пуп помнишь? Слушай поэму! Название – «Уля – Медный Пуп».

– Давай! – весело говорит бодрый Юра.

Оказывается, можно внушить себе всё, что заблагорассудится. Так я внушил себе, что мои занятия литературой – пустая трата времени. Возможно, дамбу я выстроил, но так её подмыло водой одиночества, что я уже и Алёшке готов читать свои опусы, и степи под сорочьим снегом. Усталая Аня оглохла.

«...Я не помню такого, как он, вратаря, Медный Пуп его кличка и – Уля. Только встанет заря – он втихаря возле стенки ларя в карауле. Он об стенку колотит резиновый мяч, карауля его на отскоке. Стонет угольный ларь – беспощаден палач, и удары, как молот, жестоки. Это Уля готовится к новой игре – в синяках, как индеец в раскраске, сын горняцкий, чей папка погиб "на горе", не в какой-то индейской Небраске.

*Уля сдержан. От боли не плачет.
Хоть записывай Улю в апачи.*

Он во взрослой команде стоит вратарём, он по-девичьи строен и тонок, хоть и стал огород под окном – пустырьём, хоть и стены в избе – из картонок. Отутюжена форма. Щитки как броня. Загорелые ноги как струны. Он, как Хомич, прыгуч – хоть асфальт, хоть стерня: оттолкнётся – и ахнут трибуны.

*Уля сдержан. И знает лишь мама –
Он в московское метит "Динамо".*

Он со звоном мячи принимает "на пуп" – это тренерское упущенье. А когда он приходит по праздникам в клуб, то краснеет, как дева, в смущенье. Все гордятся, что Уля карьером рождён, все суют ему, бедному, краба. Только Чал, что был трижды на срок осуждён, насмехался: "Он, часом, не баба?"

*Уля сдержан. Он знает, что скоро
Заберут его дяденьки в город.*

А однажды сломалась машина игры, когда Уля взял "пендель" от Чала. Все качали его, тербили вихры, дружно публика Улю качала. Кто-то сдёрнул с мальчишки трусишки – оп-па! Та же публика – в хохот: "Поди ж-ка!" И шумела, редела жестоко толпа. И рыдал оборванец-мальчишка.

*И ушёл. И повесился Уля.
Он в подземном теперь карауле...»*

Алёша дремлет. С лица Юры не сходит улыбка Данко, встречающего счастливую старость

на Канарах.

– Я буду её читать людям! Ты когда успеваешь-то? Такие вещи печатать надо – пусть народ читает, знай наших!

Вспомнил он футбольные подвиги нашего детства и снова говорит:

– Петюхан, а отчего его Дуней звали?

– Думаю, что из-за голоса. Помнишь, как он фикстулил?

– Ах, ты Петька! Ты же, Петька, поэт! Отчего ты книжек, Петька, не пишешь, а покойникам сказки рассказываешь? Ты же свой талант в землю на три метра зарываешь, Петька, вместе с этими покойниками – это ведь грех!

– Стихи – это вторично... – неискренне говорю я. – А вот отчего ты, Юрка, не идёшь опять на сцену, а сделался царём нищих всяя Сибири?

– Извини-и-и! Стихи не вторично! Стихи душу в человечине будят! – говорил царь нищих, ловко обгоняя попутную машину. – А моя роль – это роль, за которую я плачу себе сам и обхожусь без продюсеров! Это моя лучшая роль, и таланта я не закапываю!.. И по городам и весям не кантую...¹⁸ Это – перспектива! Кто-то сказал, что общество будущего – это общество кочевников, номадов. Они не имеют никаких пристрастий. Они, как и деньги, свободно перемещаются туда-сюда. Вверх – вниз, влево – вправо. Туда, где это выгоднее...

– Это для безбожников, – говорю я. – Для нелюдей...

– А ты что: стал таким уж набожным? – мы встречаемся взглядами в зеркальце заднего обзора. Рыжие глаза Юры смеются. – Ты-то, греховодник?

– Боюсь, что да. Потому что греховодник. Всё иное ведёт в тупик... Кочевье – тоже. Вон посмотри: цыгане – и те осели...

15

Было, к нам в Китаевск потянулись вербованные люди, брянские с рязанскими. Приехали девушки с иным, певучим говором, с иными именами. Были среди них Софья, Бэла, Мирра, Эвелина. На праздники поселковые мужи стали надевать яркие цветные и белые рубахи. После праздников висели на бельевых верёвках между жилыми вагончиками-балками красные, жёлтые, белые. Они болтали рукавами, как пугала, и не давали летним птицам оставить на себе пометки. А зимой птица в Сибири не разгуляется.

Плотник-бетонщик Толя Богданов водки не пил, но и не выполнял производственного плана. Он курил кашгарский белый план и зелёную конопляную пыльцу под названием дурь. Толе в письмах присылали её друзья. Они заглаживали дурь утюгом в уголок почтового конверта. Обдолбавшись, Толя прямо на полигоне нового завода играл на семиструнной гитаре и часто облизывал пересохшие губы. Голова его клонилась к деке, «канадка» падала на глаза, которые были мутны и печальны, когда он пел:

...Есть в Ташкенте речушка Салара,
Она мутные воды несёт.
А на той стороне – плановая,
Она мальчика нынче спасёт...

Комсомольцы и комсомолки млели и решались выпить, чтоб подпеть. Им, воспитанным на примерах борьбы за светлое однопартийное будущее, хотелось чего-то запретного. Они, как и я, четырнадцатилетний человек, никогда раньше не слышали таких понятных сердцу страдальческих песен. Я никогда не видел такой уверенной и грамотной гитары. Наверное, Толя был неплохой

¹⁸ *Кантюжник* – специальность нищего. Кантюжники целыми деревнями «кантюжили», «кантовались» по городам, прося подаяние, в отличие от мостырников, например, которые просили милостыни на мостах.

музыкант. Он не был хулиганом. Похоже, что он жил в среде, отличной от нашей. Никогда я не слышал, чтобы он назвал кого-то Сёмкой, Васькой, Валькой – только Василий, Семён, Валентин. В бараке заводского общежития на рабочей разливаемой окраине, где «Ж» располагались слева от входа, а «М» – справа, о Толике шептались все девушки. Они говорили, что Толик в бегах, что он скучает по родному городу Грозному, но если появится там – ему не жить. Он, как Фанфан-Тюльпан в волонтеры, завербовался в Сибирь и ушёл от проклятой погони.

Искры камина горят, как рубины,
И улетают с дымком голубым...
Из молодого красивого юноши
Стал я угрюмым, больным и седым...

Он пел и узкими пальцами легко, как девичьи волосы, перебирал струны гитары. Девушки обнадеживающе смотрели на него:

«Дурачок, милый маленький дурачок! Да вот же мы – женский штрафбат! Ты цены себе не знаешь!» – говорили они безмолвно, их мысли порхали вокруг Толи, как птички-колибри.

Они сами вибрировали, как струны или как вибраторы на полигоне бетонного завода.

– ...А что же мне делать, коль юность утрачена?
Что же мне делать, куда мне пойти?

– спрашивал Толик.

Девушки сладко затаят дыхание, а Толик выносит приговор любви:

...Нет, не пойду я к тебе, сероглазая,
Счастье искать, чтобы горе найти...

И девушки-комсомолки уходили оплакивать неприступность Его Величества Вора.

Было ему лет восемнадцать. Мне пятнадцатый. Он как-то доверчиво выделил меня из всех, приходил к нам домой. И мама, жалея, пыталась его накормить. Когда Толика выгнали с завода по тридцать третьей, она приютила его, печального демона – духа изгнания, как родного. И если бы он сказал: «Приведи мне свою сестру», – я привёл бы. Всё равно она, бедная, уже была не раз бита отцом за любовные дела, а я мог только мечтать о таком шуруине. Я думал тогда, что если парень ночует с девушкой, то это – любовь. Это значит, они копят деньги на комсомольскую свадьбу и на платяной двустворчатый, чтобы – поровну, шкаф. Но с девушками Толик, тоскующий о чём-то непонятном простым смертным, замечен не был. А вот поесть любил, особенно когда «забьёт косяк» анаши и «пошабит». На печальном его лице тогда появлялась счастливая улыбка. Обычная молчаливость оставляла его. Тогда он мог махом съесть булку сухого хлеба за шестнадцать копеек, недавние рубль шестьдесят. А за двадцать четыре, белого, мог заглотить две булки, не жуя.

Он говорил:

– Кумарит, Пётр. Могу ещё булку оприходовать. Понимаешь, Пётр: если человек поверил в свои возможности, в свои силы, то его возможностям не будет предела. Это – истина. Если ты в глубине души ощущаешь себя жалким кроликом, то ты – ничто, имей даже жёсткие мускулы, как у Тарзана, и мягкое пузо, как у начальника отдела сбыта Кубрака. Так что ты к Бэле-то подкатись, не бойся... Поверь в себя, отрок. Людей губит страх. Страх губит любовь. Спеши, а то к ней Георгий Хара уже подкатывается на новом велосипеде с фарой, ментовская мразь...

– Почему ментовская... это... мразь? Он в институт... это... готовится!

– А станет – ментом... – позёвывал Толя. – У него судьба такая...

– Я с ним не справлюсь...

– Я тебе помогу... Не дай Бог, он тебя тронет...

– А что ты ему сделаешь?

– Зарежу! – сказал Толик и снова зевнул. – Ча-ча-ча!..

– Не надо его... это... резать, Толик! – не стесняясь своих человеческих чувств, попросил я. Вспомнились Жоркины отец и мать – вежливые носатые греки с выпученными влажными глазами. – Мне... это... я... того... не люблю я эту Белу...

Он сказал тогда:

– Ты – копия Печорин! Любовь, горы, анаша... Ты, Пётр, – человек необычный. Но борись с этим самым «эта»... Девчонки – они чистую речь любят, чтоб она лилась. А не можешь говорить – молчи, дыши, но блистай взором...

– Я могу говорить!

– Кто же спорит? Но «этта-валетта» – не катит! Борись, а я посплю тут у вас. У вас тут... это... прохладно... Мух... это... нет...

– Матушка пижму в сених развесила. Они, мухи-то, боятся пижмы... – начал было объяснять я без «это», но Толик уже спал с печальным лицом. Я взял его гитару и пошёл на крылечко мозолить пальцы.

Благоухало лето.

Собаки лезли в тень своих будок, а выходя из них, с тупым недоумением нюхали пустые миски – стояла жара, кому есть дело до собак? Дымила черёмуха. Квохтали наседки. Кружил распятый в поднебесье коршун. Где-то родные мои земляне крутили патефон. В логу, на запруде, из которой по вечерам брали воду на поливку капусты, мылся и фыркал Жора Хара. Сверкающий велосипед «ЗиЧ»¹⁹ с фарой, похожей на лимонку, и с ручным тормозом, похожим на рычаг, которого не хватало Архимеду, лежал на травяном тканье берега. Жёлтая китайская рубашка укрывала от жары ведущее колесо, как теперь жёлтая тень Китая укрывает ведущие мировые державы.

«Давай, давай...это... – думал я, глядя на Жору и его велосипед... – Мойся... это...» – и яростно брал семиструнный аккорд.

– Мизинец, мизинец! – слышал я из открытого окна сонный голос Толи. – Мизинец включай!

Всё лето и всю зиму он жил у нас. Уходил, когда захочет, и приходил. Я начал играть по струнам, по всему грифу, а не аккордами, превзойдя в этом учителя. Толя был на седьмом небе. Но что же подвигло его спуститься ниже горизонта?

16

Нам, русским, нужно величие в наших чувствах. Нам неинтересно, когда нет драйва. Из глубины поношенной памяти, из тундры коварно-денежных отношений выплывает образ отечески мудрого, справедливого, смелого, как Кудеяр, героя соври... соврю... современности.

И вот однажды поутру по мирному нашему Китаевску пошёл пал веселья: чего нам война, когда орсовский магазин ограбили! Хе-хе! Редкий человек, кроме участкового и бригадильца Жоры Хары, возмущался проделками шантрапы. Люди загадочно улыбались, подмигивали один другому, другой третьему с пониманием: мол, и у нас как у людей. А Юра Медынец всё время подмигивал мне. Так одобрительно, будто это я без спросу взял в магазине ящик водки, семь кило чайной колбасы, полмешка питерского «Беломора» и все восемнадцать цыбиков китайского чаю – подчистую.

– Хорошо, да, людям? – говорил он. – Пей чай и чайной же колбаской заедай с опаской. Хлеб – на фиг! Вкусно! Да, Петь?

– Чо ты... это... ко мне... это... цепляешься-то? А? По сусалам... это... захотел, что ли?

– Я-то причём? К вам же дядь Миша-уческов с Жорой-грекой пошли, не к нам же!

– Бежим!

Дома участковый с Жорой беседовали с моей мамой. Оказалось, грабители приставили к

спине мирно дремлющего сторожа дяди Анания гвоздодёр и приказали ему:

– Хэндэ хох!

Дядя Ананий был дважды ранен и контужен на фронтах. Он не хотел умирать и выполнил команду. Но обиделся.

Он сидел за нашим обеденным столом и горячо объяснял каждому, кто входил, с кержацким «щ» вместо «ч»:

– Я що? Я думал – сплю! Во, глянь: трясёт по сю пору, щомер их изломай! И это мне, фронтовику, они по-немецкому командывают!

– Похмелись – трясоти не будет! – строжился старшина участковый. – Похмелись! В тюрьме не дадут!

– Що? Кака така тюрьма?! – махорка сыпалась на его трясущиеся коленки под застиранными брюками. – Я думал – сплю! Я инвалид войны!

– У вас, значит, ничо не пропало? – спрашивал маму участковый.

– Ничо... – отвечала мама. – Чо у нас брать-то?

Участковый поглядел на печь, на чёрную тарелку радиодинамика, на свой протокол:

– Ну... облигации там... Проверь!

– Ой, Миша! Да кому они нужны-то эти самые объе...

– ...гации! – ловко вставил дядя Ананий. Никто, кроме меня, не оценил его ловкости и не засмеялся.

Я смеялся и не знал, что Толик Богданов был среди грабителей, что готовился в дальнейшие бега и что по-деловому прихватил с собой моё стёганое одеяло с пододеяльником в полоску.

...То, что человек может переживать мнимое пережитое острее, чем настоящее, – загадка. Память догоняет, как истязующий кнут. Если повезёт, конечно. Тогда и осознаешь свои грехи.

Я так и не смог обидеться на Толика. За что было обижаться? Я – в отца, а тот последнюю рубашку, бывало, отдаст. Разве плохо я научился играть на гитаре? А расплатился алым стёганным одеялом. Много позже, когда профессия перестала кормить, гитара помогала мне добывать хлеб насущный. Толя подвигнул меня заняться речью, и я увлёкся, стал литератором и учёным. На что обижаться, если счастливо пожил среди настоящих людей?

Эти люди из моего детства ломали камень вручную. Они рвали его аммоналом, они мёрзли в балках, землянках, вагончиках – они строили завод. Им позже всучили ваучеры: теперь вы акционеры. Первостроитель, а ныне акционер, дед Клюкин плакал от радости – обломилось и ему, как от куска медовых сот! А уж сколько он горя видел – про то, как говорили в старину, знают лишь его грудь да подоплёка. Дряхлые, уже схоронившие жён, сядут они с земляком Ананием да со старым козаком Гринько выпивать пшеничную – дед Ананий-то всё деду Клюкину подливает:

– Пей, Исидорыч: ты больше горя видел! А щас, вишь, наша берёт!

И Гриц каже:

– Та пий, куме! На тім свити не підносять рабу Біжэму горшки, гей, гей!..

– Мы – не рабы!

– Рабы – не мы! – грозится в небо пальцем Исидорыч.

А козак Гриц розмовляє:

– Раби сього світу будуть рабами й на тім світі...

– Эх, пить будем, гулять будем, а смерть придёт – помирать будем! – орёт Исидорыч, пучит глаза и – в заглазничник за четком. – Была-не была: рупь добыла, овёс продаст – ишо рупь даст! – шинкует он присловья, как октябрьскую капусту.

А птички кругом поют. А козак Гриц на чёрные глаза уже слезу пустил от умиления чувств. И, тех птичек небесных перебивая, мовит:

– Гей! У неньке – файно²⁰ було, мій діду каже! У в день похорону витягли човен на берег... Оперли на підпори, а наоколо поставили, каже, ідоли в формі людын. На човен поставят лавку,

20 Файно (зап.-укр. жарг.) – хорошо, красиво.

застелют килимами, грецьким шовком і виложат шовковими подушками... А вгорі над нею зробили намет, со робила баба, що доглядала всіх тих приготовань, вона ж забиває дівчину; її звуть, каже, «ангелом смерті». Небіжчика одягнут, як найбогатше: в шовкову свиту з золотими удзиками, на голову соболеву шапку з золотим вірхом – і посадят в каметі на лаві, підперши подушками! Коло нього поклали, каже мій діду, напиток, овочі й пахучі рослини та зброю його; розтяли собаку й кусії її положили теж коло нього; теж зробили з двома кіньми, поганявши їх перед ним, з двома коровами, півнем і куркою... Хо!

Да позевнёт этак Гриц с потягом, да и слезу утрёт:

– Ни-и-и, козаче... Туточки, кажу, тіж файно! Гей!

Дважды раскулаченный Исидорыч рад уважению от властей и соседей. Хряпнет тубетейкой, как у Максима Горького, оземь, штанину завернёт, чтоб «не заело», молодецки скакнёт на велосипед – и в магазин за ещё одной.

Он дожил почти до ста лет. Он вставил ваучер в рамку. Он повесил ту рамку за петельку на стенку, среди почётных грамот исоусированных фотопортретов. Позже, когда все лохи обменяли «чубики» на слезу зелёного змия, умный дед Клюкин оставался верующим в именной капитал. Он умер с улыбкой в обнимку с ваучером. И никакой ему не надо уже шёлковой свитки с соболями шапками.

Жора Хара, как и предсказывал Толик Богданов, стал ментом. Окончил заочно свердловский юрфак. Вышел в ментовские генералы. Сам жулик, он загубил много невинных душ, пока понял, что сам жулик. Его греческий родственник с Кавказа управляет теперь всей хлебной торговлей в крае...

За минувшее после расстрела Верховного Совета десятилетие с карты России сметено одиннадцать тысяч сёл и двести девяносто маленьких, как наш Китаевск, городков! Это называется, их как Фома куваржонкой²¹ смахнул. Ещё тринадцать тысяч деревень – малых речушек, впадающих в русское море, – лишь числятся живыми. Вычеркнуть их из реестров живых населённых пунктов не могут потому, что там кто-то остался прописан... Но главное – эти «мёртвые души» голосуют. И голосуют они за смерть своих родных – тех, кто жив и дышит.

Так жили мы, Божии дети, в счастье неведения.

В это же время «центровые» дети жили как иностранцы в колониальной туземной сторонке. В итоге в *этой стране* иностранцами оказались дети рабочих бараков...

17

«Мало земель в свете, где Природа столь милостива к людям, как в России, изобильной ея дарами. В садах и огородах множество вкусных плодов и ягод: груш, яблок, слив, дынь, арбузов, огурцов, вишни, малины, клубники, смородины, самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины покрыты хлебом: пшеницею, рожью, ячменём, овсом, горохом, гречею, просом. Изобилие рождает дешевизну: четверть пшеницы стоит обыкновенно не более двух алтын...» (Н. М. Карамзин).

Нынче же оглядись и увидишь: Россия окончательно превратилась в колонию содомической Москвы.

А в прошлом двадцатом веке в сельском городке Китаевске хорошо жилось тем, кто ни на какие коврижки не променяет степного, чистого воздуха, бесчисленных синих озер и цветущих под окнами домов розовых мальв да бордовых георгинов – на городские собачьи скверы.

Зимой на стёклах окон расцветали букетами снега и льды, очень полезные в похмелье, когда упадёшь в них то одной щекой, то второй.

Зимой сельские горожане шли на подлёдную рыбалку, а летом – выезжали в степь на шашлыки или, как любил произнести кавказский грека Хара, «на щашлыки» – с ударением на «ы».

21 Куваржонка (сиб.) – варежка (от варяг), рукавичка.

Красноглазый Грека – Иван Георгиевич Хара – был одним из главных воротил в торговле житом. Он метил в депутаты, то есть хотел стать всенародно избранным людьми городка Китаевска и выражать интересы своих будущих доверителей словами и телом. Тело его смотрелось как пыльный мешок с житом. Русская журналистка Наташа Хмыз, которую он «танцевал», звала Греку глупым пингвином с ударением на первую «и». Ему нравились птицы пингины. А с русскими он окончательно не разобрался, считая русских уходящим народом, но тайно обижался на то, что Наташа зовёт его «чуркой».

Ведь изволь Грека – и она будет по утрам наводить палубный глянец на его вставную челюсть. Захочет Грека – и она прекратит чувствовать свой змеяский язык, потому что этот язык у неё вырвут прямо изо рта, где он привык перекачивать пустые слова. Для утверждения веры в себя Грека иногда делал глазки некоторым смешливым Наташиным подругам-девкам, намекая, что он не прочь инвестировать свою кредитную карточку в любовь новой избранницы. Девки закладывали Греку Наташе. И когда они вместе смеялись над ним на Наташиной кухне, то Грека легко прикидывался безъязыким дураком – он тоже смеялся с ними, как не имеющий души.

Звали его Иваном Георгиевичем. Он был в том возрасте, когда удача сходить по большому становится истинным счастьем для живого существа. Даже русский поэт-юноша Пушкин вскользь, но со знанием дела писал об этом. Иван Георгиевич знал Пушкина выборочно: «Татьяна, я с кроват нэ встану...», например.

Он плохонько говорил по-русски, но хорошо понимал – так удобней. Ещё лучше понимал он внеземной язык цифр, поскольку они были арабскими и одинаковыми для всех калькуляторов земного шара. Он вырос в причерноморской греческой колонии, где говорили на смешенье языков, и нужды ему не было. Русским, похоже, нравилось, если какой то ни будь иноземец-очаровашка начинает гугукать, как преступник, который валяет дурака на дознании. Для их удовольствия грека называл самолёт паровозом, а вместо «она» говорил «он». И наоборот. Это не составляло труда.

– Почему я «он»-то? – смеялась Наташа. – Я – она!

– Кито? – озирался набоб с притворным страхом и напролом лыстил: – Нэ-эт! Ти – он, ти чальвэк с болшой букви!

Тогда королева жалела бедного богача и поглаживала розовой ладонью его пыльные от седины волосы.

– Твоя седина не от мук. Она от муки... – сказала королева однажды. – У тебя волосы в муке...

Как Хемингуэй, она записывала каждую ловкую фразу на столовой бумажной салфетке.

Русские, вероятно, принимали иноземцев за человекообразных. Раньше вот арапчат заводили. Они любили показывать диковину друзьям. И допоказывались до чеченских зинданов, где их самих никому не показывают.

А Наталья упражнялась в тестах:

– Ваня, давай сделаем с тобой интервью на радио, а? Вот ты, например, решил удрать в какую-нибудь страну, например, тюльпанов, Ваня. В Голландию. Вынул ты, Ваня, авторучку, пришёл в посольство, заполнил анкеты, а тебе говорят: «Извините, но вы не голландец "Ван"! Это наши ван – луковицы! И ван-тюльпаны – тоже наши. Мы сами их нюхать будем! А вы домой: кыщ-кыщ! куцат сладкий киш-миш...» Как ты, Ваню, сюда к нам-то попал?

– На паровозы, приехала... Я – гражданка Расыи...

– Ой, Ваня-а-а! Да ты у меня как Ленин!

– Нэт, мнэ нэ лэнь! Но зачём на забор бэли краска пысать: «Аддай сухары, Грэка!»

– На забор писать нехорошо. Но опять же: какие у нас в Китаевске заборы? Так себе... Заборишки... Тын да прясло... Просто такие вот господа, как ты, скупили все газеты и не дают русским людям высказаться. Вот они и пишут на заборах. Пока из них чучела не набили... Ты, Ваня, пиндос?

– Нэт, нэт! – пугался Грека. – Пиндосы – это балаклавские грэки... Я – кавказец...

– «Кавказец» – это порода собак, – резала эротическая богиня. – Кстати, ваш Михаил Саакашвили – брат-близнец Димы Рогозина.

– Всэ люди – сёстры!

– Да? А где твой сестра Миша Чкония? Не знаешь? Я тебе скажу эксклюзивно: она, твоя сестра Миша, душегубец, мотает срок за похищение двух граждан, которые почему-то оказались покойниками. Почему ты-то, Ваня, на воле?

– Э-эй, Наташа! Ти – шовынист!

Да, все народы на земле, к огорчению Греки, делились на нации. Но и продавались все их чиновники, к его горькому удовольствию, хоть и не все чиновники – мерзавцы. Исключения же лишь подтверждают правило. Всем «надо жить» – у каждого на шее семья и начальник пирамиды. Грека классически хорошо шёл вверх на одних рефлексах. Он не знал, что первое правило колонизаторов – уничтожать капитализм аборигенов в зародыше, но действовал, как дипломированный выпускник Гарварда.

– Ваня, а в греческом парламенте русские депутаты есть? – спрашивала всегда готовая смеяться Наташа.

– Ест... Ви Грэции всё ест... – грамотно, по-абдуловски цитировал Грека. Впрочем, в нужной компании он рассказывал о своих еврейских корнях и корешках и о дальних родственниках, проживающих в Израиле.

Наташа смеялась до слёз.

– Куда тебе в евреи, Ваня? Те-то по-русски стрекочут, как пулемётики! А ты – простой сачок!

– Сачок – это чем бабушку ловят?

Наташа была, что называется, женщина без комплексов, душа компаний. Чуть удлинённый нос, за который её ещё в детстве прозвали Флюгером, делал её неотразимой. Грека страстно мычал, глядя на этот нос. Глаза его обволакивались влажным туманом чувств. Наташа могла поскандальить, много курила и пила, она пела, как птица, и танцевала, как балерина. Казалось, она не заботилась ни о себе, ни о своей репутации, ни о благорасположении Греки. Однако тот был хоть и староват, вороват и тороват, но, похоже, привязался к Наташе. Она запала в его память, как амфора, точённая на древнем гончарном круге, как метафора Теодоракиса, как первая кровь из носу. А на Восьмое марта он перебрал водки и, одержимый пьяной яростью, чуть было не разбил этой «амфоре» лицо. Сам же потом едва не повесился в её крошечной ванной, оказавшись бессильным перед змейским языком своей дорогой блондинки. После того Наташа выгнала его вон.

Грека в костюме от Бриони третью ночь жил в своей «тойоте» под окнами возлюбленной, чтобы показать ей, как он страдает и как он раскаивается. Под днищем авто стала привычно приночевывать пеструшка-гулёна.

Словом, деньги – в достатке, страсти – в остатке.

18

...Предпринимательство – понятие лукавое.

Если дельцов поровну развести по общим камерам, то одна камера будет дружно кричать, что бизнесу нужна мощная правовая база и новые законы, а другая – неустанно утверждать, что законов и так слишком много. Хороший прокурор и тем, и другим добавит.

Грека знал простую истину: дешёвый хлеб дорого стоит.

Как бы ни вертелись русские под жерновами перестройки, а хлебный бизнес в России будет по-прежнему приносить его хозяевам миллионы долларов. Хлебный кус в руках и хлебный вкус во рту сильнее кнута, потому и в случае революционных перемен просто вырастут цены на хлеб. А пока большой ошибкой местных властей было ограничивать указами вывоз зерна или рушить местные бюджеты, сдерживая рост цен на ковригу хлеба для электората. Губернатор – не Христос, семью хлебами всем ртов не заткнёт. Голодные люди станут вырывать у жующих хлеб вместе с их

скорбутными²² зубами. Глупо и ограничивать вывоз жита за пределы краев – регионы уже начали завозить дешёвое зерно из Казахстана. В двухстах километрах – ближайшая граница с этим неведомо откуда явившимся ханством.

Отборная казахская пшеница с распаханых славянами целинных земель – самая дешёвая в России. Но зато платить за неё приходится живой валютой и без всяких отсрочек. При этом некоторые поставщики казахстанской пшеницы в Москву покупают её на границе с Казахстаном по цене выше тамошней среднерыночной – около девяноста долларов за тонну. Казаху даже верблюда навьючивать не надо. Грамотный Казах очухался после голощёкинського Великого Джута, научился коммерции. Взял китайский калькулятор, загрузил его, загрузил «КамАЗ», сел – и потащил добро из дому. Туда – бабай, обратно – бай. А граница-то нового ханства с лоскутной Россией – вот она, под Омском. Где эмиссары Колчака? Нет Верховного правителя Колчака. И уже сейчас по северу ханства разъезжают эмиссары Греки и предлагают Казаху цену выше, чем та, что готова заплатить тамошняя продкорпорация.

Седой Грека отуманенно смотрит во тьме в её сторону, и гранитно-алмазное слово «граница» в русском звучании чарует его. Русский народ хорошо продаётся. Он всё ещё ютится в утопающих в грязи серых деревнях и посёлках, в убогих халупках, пропивает всё: свою землю, свою семью, своих детей, свои последние портки. Не существует в мире более продажного народа, чем русские. Они многократно продали своих богов, царя, потом всех этих ленинов, сталинов, хрущёвых, брежневых, горбачёвых, ельциных, которым клялись в верности. Они пропили своих героев и мучеников. Они продают своих детей на запчасти, их дочери и жёны продают себя на улицах всех городов мира. Разве греки делают так? Русские разворовали всю страну. Воруют все – от президента России до тупейшего из португальских милиционеров. Воруют горожане и горожанки, горничные и слуги, генералы и офицеры, солдаты и матросы, рабочие и крестьяне, партийные функционеры и депутаты Думы, русская лёгкая интеллигенция и творческие работники. Мало того что воруют – генералы и офицеры ещё умудряются продавать ворованное своим врагам: раньше афганцам, а теперь чеченцам, даже несмотря на то, что за ворованное они получают фальшивые доллары, анашу или самопальную водку. Воруют и продают врагу оружие и боеприпасы, аэродромы, секреты, армейское имущество, миномёты, пулемёты и автоматы, танки, системы наведения, всё лучшее из арсеналов. Этим оружием их потом и убивают. Они, русские, – неандертальцы. Они пожирают жизненное пространство своих детей.

Грека спокоен. Он знает, что единственная опасность для него – демон монополизации. Для нищих – она Ангел. Но Ангел уже не снизойдёт. Свершилось: «Росхлебопродукт» под видом передачи прав собственности скупил элеваторы по всей России и может, если что, диктовать цены на муку. Никто не заставит юных мукомолов продавать муку, полученную из дешёвого зерна, по ценам ниже рыночных. И растут, как бурьян на пустыре, множатся, как окурки у фабричной бани, итальянские мини-пекарни и уличные пирожковые центры. И растут состояния косцов бурьяна, который душит хлебные злаки.

За возможность «крутиться» на зерновом рынке следует солидный «откат» чиновникам в структуры, подконтрольные министру. «...Бедные, бедные крестьяне! Вы, наверное, стали совсем некрасивыми...» Знающие люди рассказывают, что на счетах сельского министра в западных банках работают до девяноста миллионов зелени. Вешать бы надо таких министров на горьких осинах, за жаривать бы в кляре в ласточкиных гнёздах. А что перед ним Грека? Маленький, влюбленный, старый комсомольский жульман...

У хлебного бизнеса нет границ. Особенно, если твой друг – директор фирмы «Икс-Алт», а отец друга – мэр города Китаевска, где первые мельницы стояли уже двести лет назад. «Икс-Алт» – самый крупный здесь поставщик хлеба. Случилось однажды по весне, что руководителей мелькомбинатов вызвали в мэрию и в добровольно-принудительном порядке попросили брать зерно только у «Икс-Алта» и только от ста восьмидесяти «уе» за тонну²³. Плевать, что у других

22 *Скорбут* – то же, что и цинга.

23 Цены на 2003 год.

поставщиков зерно такого же калибра стоило на десять «уе» дешевле. За «уе» не отвечаем. А кто откажет мэрии – брось «уе» в Греку.

После того случая фирму стали называть сурово и на немецкий манер – «Хальт».

А у «Хальта» есть оправдание: зерно мелькомбинатам фирма даёт в кредит на пару-тройку недель и по ценам, закреплённым в долларах. От «невозврата» же поставщики застрахованы тем, что за ними стоит китаевский мэр и лично мэрский сын – Прохор Шулепов. Откуда деньги в хлебном бизнесе? Из банков. В Китаевске «нахлебников» кредитуют два банка, те, что связаны с мэрией: «Банк Z» и «АББА».

Откуда деньги в этих банках? Из бюджета города. То есть из кармана горемычных китаевцев. Жалкие эти китаевцы и стараются на зиму побольше капусты нашинковать да грибов по банкам разместить немеряно. Поскольку банки у них и мэрии разные, то и их капуста – тоже не родня.

Значит, любой обвал на хлебном рынке неизбежно приведёт к кризису банков, которые его кредитуют. А банки эти кредитуют их – чем? Правильно, деньгами городского бюджета, которыми им высочайше позволено управлять. И всё пока идёт в гору: прибыль при таком росте цен – сказочная.

– А обвались-ка неурожай! – говаривал в баньке за бадейкой ячменного пива Прохор Шулепов, сын мэра, голубоглазый гигант, нос которого светился на лице маленьким аленьким бурачком. – При ограниченной покупательной способности населения это приведёт к массовому голоду, – он был дипломированный экономист. – Представляете, урожай сократился вдвое! Насколько повысятся цены на хлеб? Вдвое? Если бы! Цены вырастут раз этак в семь-восемь, а то и того лучше. Для ВВП. Посчитали? А преставившихся от голода лохов считать будет апостол Пётр...

Девки в бане аж визжали от восторга, а гуттаперчивые их тела покрывались пупырышками озноба.

Прохор всю жизнь был трусом и, как все обретшие власть трусы, он хотел выглядеть человеком без нервов. Он был жадным трусом. Рассказывают, что бывший его друг, одинокий инвалид, попросил его купить надувную женщину к своему дню рождения. Прохор купил, но сначала поинтересовался ею сам. Надул школьного товарища. Считай, что изнасиловал и ту, и другого. Инвалид едва не убил его из гранатомёта. Постоял за честь женщины. Где теперь тот ветеран двух войн – знает лишь мать сыра земля.

Но Греке-то что до сих сплетен? Грека знает, что доходы его, грекиной, фирмы-поставщика, которой мирволит мэрия, достигают тридцати и больше баксов с тонны. Что там выше – этого Греке считать не позволяют пробелы в начальном образовании. Калькулятор зашкаливает. Но Грека скажет другое. Он скажет главное, за чей счёт делается этот бизнес. Спроси его на дыбе – и он скажет, что за счёт американской гуманитарной помощи и будущего поколения русских. Американский хлеб фуражный, с картофельным грибком, почти без клейковины, зато в кредит и за копейки. Фуражный хлеб в малых дозах нужен хлебопёку. И если смешать его правильно с едовым – казахстанским, с алтайским или краснодарским, пальчики оближешь. Но кто же будет мешать правильно! Грека? Грека не будет этого делать. Он будет делать деньги. Будущее поколение русских тоже некачественное, но если смешать его с ребятами с гор...

Грека взбодрился. Дыба ему тоже не грозит: главный прокурор города ходит с ним в баню, а он – племянник мэра Шулепова.

Но рынок не может расти бесконечно... Где-то зреет обвал. И поедут «крыши», и банки девальвируют рублишко. Вот тут у Греки верхнее чутьё. И он знает, что нужно «дэлат».

А пока он выбросил за окно окурки и отбросил мысли о своих милых манипуляциях, за которые в добрых западных странах сажают на нары, баланду и липкий чёрный хлеб, который подбросишь к потолку камеры, а он там и остаётся – прилип, как Грека к Наташе.

«Вот так вам, шкуркам! – наливается он силой и спокойствием, затем подмигивает тёмным окнам Наташиной квартиры, где спит она сама, обняв ангельского облика дочку. Он чувствует себя львом – главой прайда. – Кому вы нужны, кроме меня! Пойду, схожу...»

Грека вышагивает из апартаментов в неглубокую лужу, успевает начерпать в туюфлю чёрной

воды с раскисшим в ней его же собственным окурком. Однако ничто не смущает его львиного величия. Грека слышит, как в крови его возгорается. Это возгорается светлое чувство Наташиной спины. Он достает из багажника розы в бутонах, пересекает территорию двора и входит с этими розами в подъезд засыпного двухэтажного дома, отстроенного пленными немцами на века.

Настойчивые звонки разбудили Наташу.

– Кто? – спрашивает она из-за запертой двери. – Кто здесь?

– Твоя жиголо – здэсь. Фыгар-ро – там! – шутит Грека, давая понять, что всё происшедшее восьмого марта уже не должно огорчать голубков Наташу и Ваню. – Ти адынь? У тэбья нэ все дома?

– Адынь, адынь, погоди... – отвечает она и уходит, чтобы вернуться.

Вернулась, открыла дверь – и в Греку полетели его сумки, его сумочки, подсумки, несесеры, бумаги и запасные записные книжки.

– Чего тебе надобно, старче? Корыта вашего в глаза не видела, брала его уже треснутым, вернула в целости и сохранности...

Она сказала это, запахнула халат и поглядела Греке прямо в глаза. Халат запахнула, но одно, лучшее в мире колено, она оставила нагим и продолжила:

– Не щурься, как на именинах... Я подам на тебя в суд за умозрительное изнасилование. Знаешь, что такое conceptual rape? Вот поезжай в свою гостиницу и готовь бабки. Да, это грустно, но нам заповедано веселиться...

Грека знал: Наташа, когда захочет, бывает холодна так, что в зажигалке сгущается газ, когда она держит её в руках. Сейчас от её ночного холода у Греки заныла искусственная челюсть...

– Нэ буд таким жестоким... – сказал он. И походя соврал: – Я отложил поездку в село Копылиха – ми едэм на Канары...

Она, как золотая рыбка, ничего не ответила. Лишь небрежно вложила запасную искусственную челюсть Греки в его свободную от букета руку, хвостиком халата махнула – и захлопнула за собой металлическую дверь.

Грека захлопнул рот, сглотнул. Он пошёл обратно через двор, освещенный автомобильной сигнализацией. Он тихо плакал без ожидаемой ласки. Но нет ничего омерзительней плачущего от жалости к самому себе мародёра и растлителя...

Своей каменной неприступностью Наташа навела Греку на неожиданную мысль. Он подумал, что когда-нибудь торговать русским хлебом и владеть русской собственностью будут эти русские бабы. Они будут решать – какую кому долю выделить, а не наоборот. Это право русских на их отеческой земле... Греке возмнилось, что все русские сговорились и своим стоическим безмолвием хитро приближают приход русской власти.

И она придёт, если всем этим наташкам не помочь бесследно вымереть через пару десятков лет. Вместе со своей зыбкой – русским лесом – они должны уйти в чёрные и безводные пустыни небытия...

«Поезжай же ты, наконец, в свою гостиницу...» – давно и настойчиво сигналил его толстый кишечник. Смятённый Грека не посмел послушаться, потому что уже всюду пускал шептунов и нежданчиков.

Влекомый смутными потоками желаний, он поехал в гостиницу. В мощные лучи фар попала пеструха, отбившаяся от насеста, и, подсакивая в конвульсивных антраша с батманами, она бежала до самого выезда на бетонку...

Грека остановил езду и вышел из салона. Он решил сделать экзотический жест, поймать курицу, привезти её живьём, прямо с «ко-ко-ко» в гостиничный ресторан и бросить поваряткам на кухне с тем, чтобы сотворили сациви.

– Джип... джип... – начал он по-грузински разводить политесы с курицей, строить ей куры. Та стояла, обиженно нахохлившись в световой дорожке от фар. – Кути-кути-кути... – перешёл Грека на ласковый местный. И тут с воплем «Отдай сухари!» его чем-то крепко приласкали по затылку. Показалось Греке, что ярко вспыхнули и погасли фары – это погасло его изуродованное сознание. Вот поди подумай: где ждёт твою умную голову кирпич-пережог?

– А ты что, стал таким набожным? – Мы с Юрой встречаемся взглядами в зеркальце заднего обзора. – Ты, старый циник?

– Похоже, что так.

Юра лишь пожал плечами.

– В святые метишь, керя?

– В царские опричники, керя.

– Нет, это напрасно. Оставайся на месте. Батюшкой станешь, а, возможно, и митрополитом. Мы, нищие, тебе поможем. А что? Я – царь, ты – патриарх! Алёшка, едрёна мать, ты кем хочешь быть?

– Здержинским! – не скрывает Алёша.

– Неплохо. Неплохо, и прямо по Маяковскому.

– Не знаю никакого Твояковского.

– Всё равно заметано. Заявления пока не пиши. А что, Петюхан? Клобукоуважаемое священство очень даже неплохо живёт. «...Радуйся, кукурузо, пище презельная и пресладкая-а-а...» Кстати, вспомнил старинный анекдот. Один богатый помещик пригласил в свою фазенду губернатора. Посреди церкви, как у вас принято, разостлали ковёр и поставили кресло для VIP-персоны. А местный батюшка во время самого богослужения разволновался, впал в умиление чувств: «Мир всем! – говорит и прибавляет почтительно: – И Вашему Высокопревосходительству!» Смешно?

– С огнём шутишь, псих, – сказал я, удерживаясь от смеха. – Главное, не бесплатно шутишь.

– В ад его! – говорит Алёша. – Пиши, дядя Петя, мне, Здержинскому, заявление!

– Не надо меня в ад. Бес попутал разок. Пойми, наконец, керя, что твоя голова нужна Родине! А ты: кукуру-у-узо! Едем в бункер.

Я посмотрел на часы – самое начало девятого утра.

– Включи-ка, керя, радио. Шалоумова послушаем на ходу. Как он тебе?

– О, да! Хорош! Твой будущий клиент...

Ведущий Шалоумов: «...Да полно-те, люди ли мы? Роскомстат объявил, что только в этом, две тысячи втором, году за восемь месяцев россиян стало меньше ещё на пятьсот четыре тысячи человек. За полный год "минус" вырастет до семисот, восьмисот тысяч. Представьте: каждый год в стране становится на одну губернию меньше! Их у нас всего восемьдесят девять, господа. И долго ли такое государство просуществует? А в это время в России, назло врагам, каждый день вымирает по две деревни... Что нужней государству: дети или покойники? Сегодня я беседую с майором Валерием Клячиным, представляющим наш так называемый убойный отдел. Скажите, Валерий, много ли у нас в Китаевске криминальных смертей?

Офицер Клячин: – Хм... Бывает, знаете ли, всякое... Вот в августе сего года в Зачумышском районе... Сидит в надувной лодке рыбак, знаете ли, и вяло рыбачит в зарослях. Кругом камыш, вода. Глядь! А он в камышах, знаете... того... колышется...

Шалоумов: – Сом?

Офицер Клячин: – Да не-э-э, какой там сом?! Сома надо брать у Пижмихинского дебаркадера! А это – мужик, знаете! Труп! Мужик нас по мобильнику вызывает: так, мол, и так, примите, знаете ли, меры!

Шалоумов: – Я думаю, наши радиослушатели не совсем поняли, кто вас вызывает: мужик, или рыбак?

Офицер Клячин (шутит): – Догадайтесь с трёх раз! Шучу. Мы приезжаем. С берега подобраться было, знаете, невозможно – непроходимый бурелом. Добрались вертолётom, еле нашли. Скелет только вытаскивали часа три! Намаялись, знаете ли, хлопцы...

Шалоумов: – Скелет?

Офицер Клячин: – Дак почему там и клёв-то был – на ять! Кипела рыба! Объела она его, рыба-то, до самых до мослов! Скелет – не скелет, а уже и не человек, знаете ли. Всё это добро

оказалось бесхозным. Личность установить, знаете ли, никак не удаётся. Мы и объявления давали по телевизору, и фрагменты одежки, знаете, показывали – пас! – тихо, как на сопках Маньч... Мандж... Понятно, да? А наши судмедэксперты решили сделать из бесхозного скелета наглядное учебное пособие. Что они получают, эти ребята, за свою нервную работу? А тут... такое, знаете, дело... Вот неделю они эти кости варили, очищали, полировали! То-о-о-лько, знаете, изготовили – и вот она приходит, гражданка с маникюром. Опознаёт в умершем своего родственника. По одежде, знаете ли. Оказалось, покойник числился клиентом психиатрической больницы. И на одежде у него имелась казённая метка! Так пришлось «пособие» разбирать и хоронить как нормального покойника, знаете ли. Во случай, да?

Шалоумов: – Делаем вывод, что лучше иметь метку на одежде, чем чёрную метку в почтовом ящике, или не иметь её вовсе. Я вас правильно понял, Валерий?

Офицер Клячин: – Не совсем... После Чечни всё здесь кажется, знаете ли, слегка смешным... И это печально...

Шалоумов: – Да-да! Но вот сегодня в ночь на воскресенье убили старшего лейтенанта Рыбина. Я знал его. Это был чудесный парень, который тоже, как и вы, прошёл Чечню и остался жив. Сегодня воскресенье... Вдумайтесь в смысл этого слова, господа! Воскреснет ли старший лейтенант Слава Рыбин, улыбку которого долго не забыть ни его сослуживцам, ни тем тёмным личностям, которых у нас принято называть криминальными? Время пошло. Мне думается, что – нет, Слава не воскреснет. Слава в детстве считался умственно отсталым. Общественное мнение полагает, что в правоохранительных органах преобладают таковые. Не мне судить. Но одни из них – романтики, как Слава Рыбин. Другие – берут реванш за своё убогое детство: «А-а, умники, вот я вам ужо!» Что же есть психиатрическая норма? Вот Слава. Слава был добрым рыцарем, несмотря на то, что сирота. Может быть, что и данная ему в детском доме фамилия Рыбин означает – ничей: ни папин, ни мамин, ни зверушкин, ни норушкин, а – Рыбин. Рыба – в воде, вода – темна. Тут и вспомнишь русские сказки про доброго Иванушку-дурачка, то есть умственно отсталого, по определению официальной психиатрической науки...

Офицер Клячин: – Что это вы меня сбиваете? Почему это он был умственно отсталый? У нас, знаете ли, в обществе, знаете ли, и поглупее есть! И у вас, как говорится! В детстве – да! – считался! Вы что, не знаете, знаете ли, что такое была есть совковая психиатрия? Потом паря нагнал и даже, извиняюсь, перегнал некоторых! Такой был говорун!

Шалоумов: – По факту смерти – да, бесспорно обогнал! Но не оттого, что он, как говорят, не брал, не «крышевал»! Ему не страшна была служба собственной безопасности! А «не брать» – это, признайтесь, редкостное, это ненормальное явление нравственности в рядах сотрудников муниципальной милиции.

Офицер Клячин: – Почему? Ай, да ну вас, знаете ли! А Рябиков-покойничек – брал? Нет. А Сухожлин-покойничек? Брал? Нет... А... Этот-то, как же его... Покойничек тоже... По кличке Последний из удэгэ... Почему же вы так?..

Шалоумов: – Как да почему! А вы не трогайте покойничков. Оставьте мёртвым – мёртвое, живым – живое, а героям – вечная слава. Да вы посмотрите только: на ваших ещё живых сержантах – весь золотой запас какой-нибудь России наразвес! И на вынос! И с косичками, как пацаны, ходят ваши военнослужащие!.. А вы в почемучки играете!

Офицер Клячин: – Ой, не судите... – ...и того... как же? Они кавказскую войну прошли! Да! Не судите и без судимостей, знаете, помрёте!

Шалоумов: – Это так. Все, знаете ли, там будем. Или на помойке, как ваш старлей. Давайте обратимся к обстоятельствам гибели старшего лейтенанта уголовного розыска Вячеслава Рыбина. Итак, недель раньше он потерял в неравном бою два передних и один коренной зуб. В связи с печальным уходом с театра государственной службы лейтенанта эти потери можно расценивать как неудавшееся покушение... Какова ваша версия убийства?

Офицер Клячин: – Ну, ну, ну, ну! Какой, знаете, театр?! Вы ещё скажите: чеченский след! Никакого покушения не было. Чего же вы хотите? Время такое в городе! Лет пять-семь назад поступало в месяц около сорока мертвяков. А нынче в два раза больше за неделю! Озверели православные! Крушат друг дружку почём зря да в грехах каются! К примеру, за последнюю

неделю сентября, например, поступило на семьдесят семь и семь десятых процента покойника больше, чем на тот же период две тысячи второго года. Внешние факторы смерти разные: на первом месте стоит удушение, на втором месте – травмы, нанесённые тупыми предметами, а третье, предпоследнее место, делят колото-резаные раны и отравления. «Огнестрел» пока отстаёт. В связи с наплывом криминальных смертей судмедэксперты дежурят по двое. И всё равно не успевают. Особенно ночью. Начинается самая работа. Так и старший лейтенант Рыбин обходил ночью вверенный ему участок. Он увидел, что некий мистер Икс...

Шалоумов: – Какие вы ужасы рассказываете! Мистер... кто?

Офицер Клячин: – ...Мистер бомж! Можно предположить, что этот мистер бомж, роясь в мусорном баке...

Шалоумов: – Но ведь мусорный бак – не сберегательный банк, хотя слова и однокоренные. Но чем же всё же была вызвана острая реакция лейтенанта на естественное поведение этого нынешнего бомжа – типичного представителя экстремальной профессии и, насколько мне стало известно, бывшего учителя физкультуры?..

Офицер Клячин: – Вот! Таковым было отношение старшего лейтенанта Рыбина к несению службы. Вот представьте сами себя на его месте: вы идёте по участку в районе улицы имени Серостана Царапина, пятнадцать дробь двенадцать. И вы ясно, как в телевизоре, видите себе, что некто без постоянного места жительства роется в мусорном баке. И складывает он добычу не куда-нибудь в пакет, а за пазуху. Вы крутите ручку настройки – и у вас возникает убийственно правильная мысль: не-спро-ста! Верно?

Шалоумов (удивленно): – М-м-м... Мне не совсем понятна ваша логика...

Офицер Клячин: – А-а, логика вам! Мы логику проходили, не волнуйтесь! А вот Рыбину, знаете, некогда было мычать: м-м-м! Он не мычал! Он кинул своё натренированное на тренировках тело на подавление сопротивления бомжа! Теперь уже неживой бомж – бывший учитель физкультуры, как вы очень верно заметили, оказал ему прямо, знаете, таки... фашистское сопротивление! Об этом можно судить по количеству фонарей и ушибов на фэйсе и торсе Славы Рыбина! Но некто под названием «третья сила», этот некто третий убил их двоих вместе из огнестрела! Кто он, этот фантомас наших дней? Над его разработкой сегодня трудятся лучшие умы нашего районного отдела милиции. Заведено уголовное дело! Ведётся следствие! И, будьте уверены, мы изобличим и покараем этого козла! У нас это дело – но пасаран! Впредь никому неповадно будет подымать свою волосатую руку с пистолетом Токарева на сотрудника нашего подразделения! Запомните! Нас, знаете, не мочат – мы не мочим, а замочат – спуску не дадим! Это я вам говорю!

Шалоумов: – Вы мне-то уж, пожалуйста, не грозите!

Офицер: – А я вам и не грожусь – я предупреждаю через вас наших потенциальных убийц! Пусть они знают: всех отловим – и мало не покажется! А прокурор – добавит! Добавит, я прямо, знаете, вам скажу! Слово офицера – добавит! Догонит, знаете ли, – и ещё наддаст!

Шалоумов: – Несомненно – наддаст! Но мы с вами отвлеклись от главного: как и почему был убит лейтенант Рыбин? Что за бумаги были зажаты в его кулаке?

Офицер: – А вот это вот самое – коммерческая тайна... следствия! Но скажу, что написана была сушая пустяковина, ничегошка: «Дядя Петя, не забудь...» Какой дядя Петя! Что не забудь?..

Шалоумов: – ...это и многое другое предстоит выяснить следствию. Так?

Офицер: – Так точно!

Шалоумов: – Однако из достоверных источников нам стало известно, что Слава Рыбин самостоятельно изучал английский язык. А в записке было написано почему-то английскими буквами следующее:

«Wowa – kukla-marionetka v lapax KAGANATA. Kozel-provokator vedychiy baranov na ritualnoe zaklanie. Neyzeli do six por tie yasno? Ili u Roccii deystvitelno odni PRIDYRKI kak on sam nedavno skazal? Slygi SATANI v CMI podigrivayt emy, ostavlay narody nadezdy. Ona umret poslednei. Voin-Rusich, vocctan! Osvobodi Podinu ot pabstya. ZA VERY, TSARYA I OTEHESTVO! VINTOVKA delaet ictoriy...»

А уже далее по-русски, следующее:

«Дяде Пете».

Что это за дядя Петя? Прокомментируйте.

Офицер: – Что?! Вы ответите за разглашение нашей служебной информации! Где вы это взяли?!

Шалоумов: – Мы не выдаем своих информаторов. Вам же спасибо за интересную, содержательную беседу. Резюмируя сказанное, стоило бы риторически воскликнуть: когда в стране прекратится бардак? Останавливает понимание того обстоятельства, что в бардаке пора менять бандершу на хозяйку. Итак, многоуважаемые радиослушатели, наше время в эфире истекло. События развиваются столь стремительно, что вскоре может настать момент, когда «уже не будет времени»²⁴. В следующем, вечернем уже, выпуске нашего радио-шоу «Китай за углом» мы расскажем о нападении на предпринимателя Ивана Хару... Послушайте анонс...»

Дикая какофония шляхетского композитора Людославского. На контрасте – невинный голос хорошего мальчика из буржуазной семьи:

«...В кремешной темноте пострадал и коммерсант Иван Хара. Поздно ночью, возвращаясь в гостиницу из командировки, он решил заехать в достославный район красных фонарей и взять там в любимые подруги девушку, чтобы её "оттанцевать"...»

Звучит шансон.

Начальник командира офицера Клячина слушал эту радиопередачу на даче. Он сразу позвонил начальнику командира и с усталой обречённостью выговорил:

– Что у вас за кадры! Он что, мля, гонит, этот Клячин?! Я ему за такой гнилой базар кипу на хунты порву! Ишь, ты, петух на параше закукарекал!

– Да вы что, трщ полковник, Клячина не знаете? Хороший служака, отличный пацан! Две контузии – чего вы хотите, тосики-босики? Да бросьте в того «эф-однёрку», трщ...

– Как разговариваешь?! Ты кто: военнослужащий или бык картонный? – начальник уже не сдерживал бешенства. – Да ты... у меня... в горы! К кунакам!

– Так точно, трщ полковник!

Полковник подумал, что не стоит всё же продолжать тему: на языке шпаны говорила добрая половина рядовых, сержантов и офицеров милиции города Китаевска. И он продолжил, стараясь говорить бесстрастно:

– Он, этот Клячин – что, с этим Рыбиным за одной партой в спецшколе для контуженных сидел?! А если портрет услышит этот его бред? У тебя в кабинете портрет висит? Висит! А у нас так: сегодня он здесь прокукарекал, а через день – по центральным СМИ! Убрать и задвинуть этого майора за Можай, да так, чтобы рот открывал только перед гусями и курицами! – бесстрастно не получалось.

– Так у него же, у Клячина, сеструха, трщ полковник, она же самого Прошки Шулепова сполюбовница, трщ полковник! Вы что, не знали?

– Ах, так! И досье мне на этого журналиста Шалапутина!

– Шалоумов-в-ва!

– Досье! Только: «так точно» и «слушаюсь»!

– Слушаюсь! Так точно! – ответил начальник командира и принял распоряжение к исполнению.

Так и не появился в отдалённом приграничном райцентре Копылиха новый начальник милиции майор Клячин.

Ни сейчас, ни позже, а пока:

– Вот так, керя: Славку-то убили! – посматривает на меня в зеркальце Юра.

– Уже и на помойку выбросили, – подтверждаю я, думая: «Вот тебе, Славка, и граната на шее... А тот, второй, думается мне, Чимба...»

Нарочитая грубость – давняя защита от печали и нежности. Видно, возраст наш надо нам с керей исчислять не хронологически, а, исходя из логики жизни, – логически. Только потом, как в

рапиде, к зачерствелому стыду своему, вспоминаю, что Слава остался там, в деревенском осажённом погребу. А на помойку его выкинули, чтобы показать живым истинное, по их усмотрению, место российского милиционера: рядом с бандитским паханом и на свалке. Интересная суть самосуда!

– Да-а! – печально улыбается Юра, неотрывно глядя на меня всё в то же зеркало. – Работа у него была такая... Государственного человека Славку и – на помойку.

– Нация первична – государство вторично. Особенно, когда рядом на помойке...

– Это уж как водится! Только ты путаешь понятия: народ и нация...

– Аксиомы у каждого свои, – говорю я. – Одни идут за них на праведный бой, другие идут изображать бой на театральной сцене. Или на съезде нищих, что тоже впечатляет.

– Разве я против боя? С чего ты взял? Это тебя нынче толковать, как Писание, надо. Но вот то, что с твоей работкой с голодухи не вымрешь, – это точно! Воронья у тебя работёнка. Помоек хватает!

– Точно! – снова соглашаюсь я. – А у тебя шакаля!

– Ничего подобного, керя. Все попрошайничают. Пендосы, кстати, по самую репину в долгах у интернационала. А мне же лично импонирует практика Муссолини. Великий дуче, в общем-то, строил государство на артельных, корпоративных принципах. Или назовём их коллективистскими. Италия была нищей. Она до сих пор небогата. И до сих пор, керя, старшее поколение нищей Италии те времена воспринимает положительно. Кроме, разумеется, войны. А у нас в России – великие традиции побирушничества! А какой опыт! А какие благоприятные исторические условия! «...Нищие, а особенно юродивые, считались святыми людьми, заступниками перед Богом за наши грехи...» – почти дословно цитирует он из первой части доклада, который я для него напишу за пятьсот баксов.

– Память у тебя, как у юного попугая жако, – говорю я и тереблю спящего на заднем сиденье ребёнка: – Алёша, приехали! Пойдём пить чай с халвой!

– Вас послушаешь – водки захочется! – отвечает Алёша. – С халявой!

– Вот он – шпи-он! Я тебе рот зашью, маленький бич, если ещё раз услышу про водку хоть полслова!

– Вот... – пискнул ехидный Алёша, – ...ка...

– Вот приедем, попьём чаю. Потом мы с дядей Юрой уедем, а ты будешь дома читать умную книгу до тех пор, пока я не вернусь. Понятно?

– Та я ж з пэрэляку, дядько Петро! Я видел во сне такую чушь: кошку, похожую на сову!

– Сова – она и есть летучая кошка! – успокоил его Юра. – Никакая это не чушь! А знаешь, к чему такой сон?

– Нет. К чему?

– Лифт у Петюхана-то, как всегда, не работает! Попрём на пятый этаж своим ходом. А будь у нас крылья!

– Да! – соглашается Алёша. – Крылатые нищие – светлое будущее России!

– Ого! – восхитился Медынцев. – Это же девиз съезда! Гениальный ребёнок! Нет, Петюхан, он точно – твой сын. Алёшка, продай девиз!

– Дарю, – скромно отозвалось предложение на спрос. – У нас просто: царь сказал, народ исполнил.

После развода со старомодной своей мечтательницей о миллионах мне негде было жить. С нашей общей жилплощади она меня выписала за время моих скитаний. А нынешнюю однокомнатную квартиру отдал мне под жильё Юра Медынцев, когда купил себе новую на свои нищенские сбережения. Её он и называл бункером. Шестой год уж пошёл с тех пор. В свои наезды в Китаевск я живу здесь и пишу никому не нужные романы. Здесь, похоже, мне и придётся доживать свои дни. Юра забрал отсюда только писанный маслом портрет своего папчика – дяди

Сери. Папа Серя был писан с фотографии в форме майора артиллерии.
На портрете – подпись в отместку:

Мой папа самых честных правил.
Учиться он меня заставил.
Я не на шутку занемог.
И сбёг из дома под шумок.

Под портретом подпись:

Сын артиллериста.

По хозяйской привычке Юрий Сергеевич Медынцев – Царь нищих – сразу проскочил на кухню готовить чай, вразумлять Алёшу своим мужским примером и читать ему вслух свой мой доклад.

– Ты будешь мне задавать вопросы, Алехан! Потому что устами младенца вопрошает истина... А ты, паря, – сказал он мне походя, – иди, налей горячей воды в ванну и начинай парить свои бедные бледные ноги! Чувствую я, что ты простужен: такую уж ты ахинею несёшь...

– Какая такая вода, Юра? Во-первых, при моем облитерирующем атеросклерозе парить ноги нельзя. А во-вторых, ты, дядя Юра, как вчера из детдома... Тебе фамилия Чубайс знакома? Тоже из ваших, из бедных. И артист поистине народный. Вторую неделю кукую, как зигзица: сколько лет воры у лохов будут тепло красть?

– Алехан! Кто остроумней: я или Петюхан?

– Дядя Петро поостроумней будет!

– Когда он ещё будет, а я – уже! Посмотрим! – пообещал Царь нищих. – Здесь ты глубоко заблуждаешься, паря! Я – злободневней. Ты ещё мал и ты не можешь самостоятельно отличить идиота от неидиота.

Я с ногами уселся в кресло времен хрущёвской оттепели и включил записи на автоответчике.

Неизвестный: «Здравствуйте, Пётр Николаевич! Меня зовут Олегом. Ваш телефон я узнал через свою знакомую моей жены, журналистку Наташу Хмыз! Она школьная подруга моей жены. С её слов я понял, что вы хорошо знаете внутрицерковную жизнь. Потому-то я и обращаюсь к вам за консультацией», – как по писаному заговорил дьяконовский бас.

– Началось... – буркнул Медынцев. Вот не зря они с Наташей Хмыз были супругами. Одна сатана: хлеба не давай, дай поболтать. – Ему в большом духовном оркестре геликоном работать, а он! Где у тебя хлеб, керя, где масло? Где икра, наконец? – И он снова удалился на кухню.

Олег: «...Зарплата псаломщика невелика. По сравнению с доходами настоятеля, естественно. И меньше минимальной зарплаты, признанной государством. Оговорюсь, это в городских храмах. В сельских платят, наверное, столько, сколько могут. А у нас семья православная, имеем четверых детей...»

Царь (из кухни): – К нам его, к нам, в Лигу нищих! Пусть работает инвалидом кавказской войны, как настоящий мужчина! – донеслось с кухни.

Я прибавил громкости.

Олег: «...И дело вовсе не в зависти, что кто-то имеет много, а то, что детям не хватает на нормальное пропитание! Они, дети-то, конечно, понимают... – мне показалось, что незнакомец Олег глухо застонал, однако он кашлянул, извинился, сославшись на простуду, и продолжил: – ...детки-то и не просят, они понимают! А я, бывает, от этого их понимания готов выкопать себе в лесу могилку, лечь в неё заживо и не вставать, прости ты меня, Господи! Пётр... э-э... Николаевич... я хотел у вас узнать, сколько часов в день работает псаломщик и сколько получает за требы. Я понимаю, что у каждой работы есть свои особенности: так, если псаломщику положено столько-то часов, то больше, как ни хоти, не получишь. Мне кажется, что жить на зарплату псаломщика, певчего, пономаря просто физически невозможно! В нашем храме из-за этого периодически меняются пономари – надо кормить семью и детей, но на оклад это сделать

невозможно. А на подработку не всегда хватает времени. Насколько мне известно, во многих храмах Первопрестольной вообще нет пономарей "на окладе", но очень много... м-м... добровольцев. Как вы, например. За счёт этого удастся "закрыть" все службы. Правда ли это? И как вы зарабатываете? Не могу ли я быть полезен? Как жить в небольших городах – просто не знаю. Разумеется, насчёт организаций "профсоюзов" и прочих либеральных, мягко говоря, "причуд" в церквях, я согласен с возражениями. Мне кажется, что должность является честью для православного христианина, и ради денег вряд ли кто там работает. Но жить-то как? Работа должна кормить. Дорогой Пётр... э-э... Николаевич, по моему скромному разумению, у вас уникальный опыт чтеца. Так посоветуйте мне что-нибудь, Христа ради! Мой телефон...»

– Вот-вот! Христа ради! А я что говорю? – актёрствовал Царь, проходя с чайником в ванную. – Церковь нынче бедна! А в былые-то, керя, времена, при императрице Елизавете, насельники самой Лавры жили не тужили! Каждому монаху, керя, ежедневно отпускались – замечь: бутылка хорошего кагору, штоф пенного вина, по кунгану мёда, пива и квасу... – орал он оттуда. – Некий святой отец носил шёлковые башмаки и чулки, на башмаках бриллиантовые пряжки в десять тысяч тех, те-е-ех ещё рублей. Разве не так, керя? Гардероб с шёлковыми и бархатными рясами занимал у него целую комнату, такую, как та, в которой ты сидишь! О нем говаривали: «Гедеон-то, Гедеон, а вот нажил миллион».

– Ты начитался дурных неотроцкистских пьес, жалкий актёришка... – говорил и я. Говорил громко, зная, что Алёша внимательно, как прилежный ученик, вслушивается во все наши разговоры. – Ты, может быть, и царь, Юрка, но священство выше царства.

– Ничего подобного! Это сам Поселянин про Гедеона писал, человек многоуважаемый!

– Вот потому вас, актёришек, и хоронили за церковной оградой, как самоубийц и нехристей! Слышите звон, да не знаете, где он! А это звон колокольный! По ком он звонит, колокол-то, а, керя?

– Да уж ладно тебе, демагог с досоветским стажем, тебе видней! Я же не принципиально, я так...

– Всякий труд, Юрка, достоин пропитания! А люди – они не святые, и потому всяк ответит за своё!..

– Да шучу я! Ты, Петюхан, становишься занудой! Хорошие деньги портят твой весёлый и дружелюбный нрав, щен!

Следующий звонок был от Наташи Хмыз.

Наташа: «Здравствуй, Петенька, здравствуй, миленький, здравствуй, умница, здравствуй, понимающий души моя!..»

Юра: – Эх, как она тебя цветочками обсаживает! А ведь ты ещё живой!

Наташа: «...Здравствуй, суровый мститель за всех униженных и оскорблённых Святая Руси, здравствуй, мой единственный личный и национальный герой! Горе, о арахисовая халва моих дней, горе у меня! В Греции приспущен государственный флаг и объявлен траур: сегодня ночью в диком степном граде Китаевске, где по улицам ходит медведь на липовой ноге и с кобурой со Стечкиным под левой подмышкой, едва не был убит кирпичиной ещё дореволюционного обжига предприниматель Иван Георгиевич Хара...»

Юра: Периодами говорит!

Наташа: «Ты, Петька, удивишься, но мне его жаль. Он лежит в военном госпитале и трудно, и болезненно думает, что его охраняет вся русская армия. Как ты думаешь: сходить мне к нему? Может...»

Юра: – Эх, как она, Наташка, тебе перлов-то наваляла – хоть в ломбард тащи!

Я: – Это она чтоб ты ревновал.

Юра: – Я и ревную. Суй ноги! – подставил мне к ногам тазик с парящей водой сам Царь. – Я туда вару из чайника налил! Не слушай врачей! Парь их, керя, они устали, а ты ещё нужен нам, будущим покойникам!

Я: – Ты смерти моей хочешь... – понял я и погрузил ноги в тазик.

Наташа относилась к женщинам, от которых мнительным господам следовало бы держаться

подальше. В ранней её юности, в первый месяц после её выпускного бала, я посвящал ей стихи:

...Тобою ночью куплен с потрохами,
я на заре проснулся с петухами...

Но тому прозрению было добрых два десятка лет. Тогда Наталья нюхала мясистый воздух возле шашлычных, а нынче у неё сумочка от Louis Vuitton и брошь от Cartier. И беднее стать она бы уже не захотела. Закупать меня нынешнего в племённое стадо Наталье не было нужды, но дружбой со мной она, похоже, дорожила. Что ей в том?

«С тобой мне весело пожить и издохнуть в пасмурной атмосфере хлебного бизнеса...» – сказала она как-то.

Я отвечал, что нечего ей было выходить замуж за богатого и красивого Юрку Медынцева, что напрасно сотворили они этот досадный брак, что издыхать в неволе не собираюсь, и посоветовал ей исповедаться. Она нацепила золотой крестик и сочла, что этого ей достаточно, чтобы угодить Господу Богу, словно он командир подразделения, который взялся осматривать: у всех ли правильно пришиты подворотнички и вычищены сапоги.

Наташа: «...Может, он, Грека-то, перед... хм... этим... самым, где ты работаешь... отпишет мне лимончик? Погуляем в тиши. А вечером увидимся на съезде нищих, если, конечно, Грека мне ничего не отпишет из того, что украл. Я буду там с маэстро Шалоумовым. Не ревнуй. Он давно хочет с тобой познакомиться. Он говорит, что там, на этом съезде, будет зачитан Медынцевым очень интересный доклад. До скорой и нежной встречи, похоронная команда!»

– Слышал? Уже идёт добрая молва о твоём моём докладе! Ах ты Натаяска из насево Китайска! – одобрительно сказал Царь-Государь о своей бывшей жене. – Приходи, Натаяска, сядь пить... Ходи-ходи... Ка-лясё-о-о...

Соскучился, видать, бедный, по огням рампы.

Далее позвонил батюшка Глеб:

О. Глеб: – Господи, помилуй! Господи, благослови! Здравствуй, Пётр Николаевич! Тут, Пётр Николаевич, снова казус, выручай: я – на разрыв! Такой праздник нынче, литургию надо отслужить, потом исповедовать одному человек сто, не меньше! Ты знаешь, что есть такие усердные, кто каждый день готов предстоять на исповеди по два раза! А потом у меня – двое крестин! Расчеты с клирошанами! Мне хоть разорвись, Петя. А произошло, Божьим попущением, следующее... Ох, грехи наши тяжкие! Господи, помилуй! Слушай. Как-то в морг привезли убитого парнишку лет пятнадцати. Пришли родные – плачут, божатся, грешные, что это их сын-студент. По плавкам, говорят, его опознали. В морге им Дима-судмед и вся медбратия объясняют, что возраст не совпадает: тот юноша, а этот, судя по всему, отрок! А те всё плачутся: наш он, и плавки, дескать, наши: вот же они! Вот тут узор, вот тут штопка! Так и увезли тело, похоронили на родине – в Копылихинском районе! Ты над ним канон читал – помнишь? Копылихинский район, село Кавдыбиха! Ты и снарядил его в последний путь. Да вот боюсь, не последним он оказался!

Я: – Не томите, батюшка! Раскопался, что ли?

О. Глеб: – Терпения наберись, чадо! Через неделю, милый Петя, началось: явилась ещё одна родственница. У неё пропал сын, пятнадцати лет отроду. Ушёл, говорит, на озеро купаться и не вернулся. Женщину с грехом пополам, елейными уговорами умаслили, отправили домой. А ещё через неделю прибежали те, первые родственники! На колени пали перед Димой-то, судмедом! Ой, прощеньица просим! Оказалось, что их убитый студент пришёл домой ровно на сороковой день после своей мнимой смерти. Как раз к поминкам! С порога говорит: «Здравствуйте вам!» Сел к столу и давай уписывать кутью! Старушки так и попадали под стол! Господи, помилуй!

Мне показалось, что батюшка едва сдержал смех, он долго сопел, стонал и охал.

– Он, оказывается, пошел пива попить, там встретил своих студентов и уехал с ними в экспедицию аж на Селигер. Что теперь? Дома у студента – паника! Родственники примчались в бюро судебной медицины и просят аннулировать справку о смерти. «Убитого» отчислили из

академии, в ЗАГСе аннулировали его паспорт и начисто вычеркнули из списка живых. А его девушка успела выйти замуж. Нравы! Что делать? Ладно, уж так всё Господь устроил! Им самое главное понять: что делать с могилой, где другой человек... А нам с тобой – снова да ладом... Стар я сделался! Голова, Петя, не выдерживает! Они мне зачем-то звонят, просят, чтобы я приехал: молитва, мол, ваша получилась безадресная, до востребования! Прости Ты их, Господи! А у меня, ты знаешь, ни минуты свободной. Сам захворал, кабанчикам корму наварить надо! Это что же творится-то, отцы небесные, Матушка-заступница! Слушай дальше...

Я не заметил, как заснул в тепле этого своего вороньего гайна.

Утро ворона, ночь ворона, век ворона ...

21

...В простудной хвори я уплывал на лёгком челночке, да вдоль береговой линии жизни, да в обратную сторону. К мерцанию углей угасающего костра...

Струилась, пестрела гольянами перед глазами речонка моего детства.

Она не журчала, а просто текла, потом пропадала за колючей изгородью склада взрывчатки, называемом «аммоналкой». Речонка исчезала за колючей проволокой, пропадала и никуда уже не шла среди отлогой супеси склонов. Она укрывалась в запретной зоне до нового половодья. Названия у неё не было и уже не будет. Её звали «наша речка» – и всё.

Я приставал к берегу. С деревянных мостков, по которым не разойтись двоим, как с капитанского мостика, я смотрел на пологий скат берега.

А с вершины холма смотрел на меня пустой дом ещё живого блаженного Спири. Он казался мне бородатым великаном. При этом он по-детски не выговаривал «эр». В его тяжёлую ладонь вошла бы моя голова с ушами вместе. Лицо его было розовым и неоглядным, как цветущее поле гречи. Лицо блаженного было таким розовым и неоглядным потому, что стлалось широко, далеко, переходило в лысину и лишь у самой спириной потылицы, как гречишное поле, обрывалось. При этом оно окаймлялось зелёной, как мох, опушкой седины. Синие студёные озёрца-близнецы – это Спирины глаза. Таков был богатырский мир его лица. Дом блаженного и колодец с журавлём стояли за речкой, на отшибе посёлка. Одинокая берёза, которая изогнулась стволом, как латунный подсвечник, в его ограде.

– Бабушка, он кто: колдун? – спросил Петя как-то перед своими страшными снами, которые шли возрастной полосой.

– Э-эх ты! Читака-писака! – огорчилась бабушка. – Колду-у-ун! Старец Спиридон – сын богатых родителей! Всё, что ему оставили батюшка с матушкой, он роздал бедным! И жизнь свою голубиной старец Спиридон так угодил Господу Богу, что Господь открыл ему будущие времена и каждое сердце человеческо!

– Бабушка, а зачем тогда родители наживали?

– Не всё нажито праведно, Петя... Большое богатство – грех...

Потом, когда Спирия был арестован и бесшумно умер в хрущёвской неволе, этот подсвечник-берёза упал и вывернул из склона сочную чернозёмную карчу. В карче свили гнезда бесстрашные змеи.

Нежить. Осенние мухи. Мразь. Оттаявшие помойки. Вот чем стала для России «хрущёвская оттепель».

А при Спириной жизни дом стоял пуст, потому что сам-то Спирия вековал в рублёном флигельке. В его оконце вечерами шаял свет лампы. Там же, в бане, блаженный принимал честных хожалых, набожных старух с опрятными внучатами. Внучата прятали лица – они боялись, что Спирия опознает их. Что накажет тех, кто дразнится, когда через посёлок, потом через лес и город он трусит двенадцать верст к единственной уже церкви нашего героического города. Так и мерял землю тяжёлым посохом.

Поселковые дети, как облако гнуса, вились около и вопили:

– Спи-ря спи-рил, бул-ку сты-рил! Пошли на ул-ку – отнимем булку!

– Динь-дон! Спири-дон! Стибрил хлеба десять тонн!

Спирия никогда не стырил ни булки, ни тысяч тонн хлеба, как Грека. Его хозяйство – бабочек на клеверах да подстрешных ласточек – даже хрущёвские финагенты не описывали. Люди сами несли ему еду, отрывая от себя. К нему, как я нынче понимаю, шли на послушание тихие опрятные юноши. Иногда он бил кого-нибудь из них своей богатырской палкой. Зато чуть позже, когда борец с культом личности бывшего семинариста объявил в розыск последнего попа, Спирия истлел на зоне...

– ...Спири-духа, Спи-ри-ду-ха! Две нога – че-ты-ре у-ха!

А он не останавливался, чтобы выбрать хворостину из кустов. Он бормотал, не сбавляя ходу:

– Что вы, что вы, что вы, что вы... Что за чада, что за вдовы... Ап-ап-ап-ап! Лазогнать всех этих баб... Ап-ап-ап! Будут есть из бесьих лап... Слёзки – кап-кап-кап... А не будут есть из лап – беси цап-цап-цап... Что вы, что вы, что вы, что вы! Мы давно на всё готовы... Нам уж очень уж невмочь... Вы готовы нам помочь?.. Мы готовы, дети-вдовы, всех спасём мы вас, бедовых: Лаз-два-тли – огонь! Пли!.. – и кидал в нас сухой дротик.

– Ай-й-й! Ой-й-й! – верещали радостные неумытые дети и рассыпались испуганными воробьятами за придорожные кусты. Но Спирину скороговорку пользовали, как считалку:

– Ап-ап-ап-ап! Слёзки кап-кап-кап! Лаз-два-тли – огонь! Пли!

Говорили, что он пришёл *с войны* контуженый. Сам же Спирия говорил, что пришёл *на войну*. Так он сказал и мне, когда я с родной своей бабушкой Марьей принёс ему пахты с молокозавода. С нами же и двоюродный мой брат Юраша в кубанке и с деревянной саблей. Он важничал и воротил от Спири лицо: боялся, что блаженный унюхает запах табачного дыма.

– Золотокудлый Петька... Злато зло, зло, зло... На, Петька, на! – протянул он выпростанную кринку. – На! Клугом война... Богу молись, кашей делись...

Я был мал, да умён: упрятал рыльце в бабкину суконную юбку – рыльце в пушку.

– А ты – голова... голова... – говорил розовый Спирия бледному, лишайному Юраше.

– Это точно! – растрогался Юраша, которого редко хвалили за плохую учёбу. – А они всё: дурак, дурак!

– Смотри, Петька! Кто похвалит, тот и повалит!

Это потом, потом... Вверх по реке, против течения.

А тогда бабушка смотрела на Спирию и вся лучилась, благоговела, утирала платочком слезу, теребила в мочках ушей златы серьги эпохи царизма. Она спросила Спирию:

– Скажи мне, родименький, рибильтирвают мово Николая Павловича посмертно или же так навечно оставят врагом народу? Скажи, Спирюшка, какой же он враг-то был, какого народу?

– Иди, влаг, в балак... Так иди, так... так... Шаг – влаг, шаг – влаг... Тик-так, тик так... Гнал блак – влаг... Бел флаг – влаг... Ел мел – влаг... Был смел – влаг... Как так?.. Шаг... Шаг... Влево – шаг... Вплаво – шаг... Так? Лаз-два-тли! Огонь! Пли!

– Понятно... – уливалась слезами бабушка Мария и всё оглаживала мою белую макушку. – Стихи! Да Бог-то милосерд: он всё видит! Неужто, Спирия, попустит Бог торжество антихристово-то этих? А, Спирюшка, родименькой? Может, нам землю-то вернут?

Спирия не ответил, а присел передо мной на корточки, облучил меня синими глазами, взял мою руку ребёнка и поцеловал её. Потом поднял глаза к небу и сказал:

– Благослови душе моя Господа и вся внутленняя моя... имя свято Его...

Он перекрестил мой лоб, говоря:

– Иди, иди с Богом... Я помолюсь за тебя...

Я ничего не понял из этих слов, но доброта его глаз выжгла во мне что-то гадкое, вещавшее мне страшные сны. Тогда я заплакал от неосознанного стыда и ясной любви к непонятному горнему миру. Мои шестилетние слёзы излились. Они не приходили ко мне около десяти лет и зим.

...А с прошествием этого срока, на исходе июньской ночи, на этом же ветхом мостике я обнял девушку Зойку. Зойка была жаркой и жадной. На ней было чистое синее платье с весёлыми цветочками по полю. На платье – белый отложной воротничок под нежное горло.

Запели в той затуманенной дали первые песни. Возбrehали собаки той дальней яви. Вожди

торопились обещать по радио продолжение великих свершений. Облака сбивались в небесные армады. Земля жарко плодила зелень.

А мы – я и Зойка – шли в обнимку коленцами переулков. Этой проходочкой мы заявили дядям и тётям всего окрестного мира о союзе своих чистых сердец. Но осенью пришёл со службы пограничник Лёня и взял её себе в жёны. Тогда я и ушёл в сарай к Лизе Кёних. Там, на деревянном топчане, она меня и пожалела. А потом я сильно плакал в золотом лесу. Я обнимал берёзку, и чуткие листья падали на мою слабую голову лоха.

Заплакал я и сегодня во сне, когда вернулся из одиночного плаванья по речке быльях. Да плач ли это был? Донные слёзы лишь щипали глаза, но пропадали, как та речка, неведомо где.

Мне явилась живая мама.

– Плачешь, что ли, Петя?

– Плачу, мама...

– Отчего так, милый ты мой?

– Людей, мама, жалко...

– Ах, ты, мой ангел! Это, Петя, слава Богу, болезнь уходит...

Она накинула салоп, встала на колени и начала молиться там, во сне.

А я проснулся и обнаружил, что укрыт болгарским пледом, ещё сто лет назад, в двадцатом веке, прожжённым сигаретой Наташи. Светало поздно, спал я совсем недолго.

...Ещё одна тыловая сентябрьская, которым несть числа от начала времён, ночь прошла, пересчитывая звёзды над униженной русской землей. Звёзды были все по местам. До них ещё не добрался либеральный молодняк и не присвоил их и не переименовал в честь своих бесчестных же подружек. Врата Небес бесшумно раскрывались и пропускали на Страшный суд сотни бесплотных отлетающих душ, которыми убывала страна великанов.

Это была ночь незадолго до начала мэрских выборов.

Мой бывший однокашник, инвалид по части совести, мэр Димка Шулепов баллотировался на третий срок.

22

Это был страшный для жителей города месяц. Их, оглоушенных, атаковали зло и беспощадно. В газетах писали, что чартерными рейсами в Китаевск прибывают два батальона столичных политразбойников, которые намерены творить нашему земляку, нашему коренному Шулепову всякие гадости. Они будут вбрасывать подложные бюллетени, облыжные обвинения, устраивать голосование по двум, а то и по пяти паспортам. Они успели переименовать его фамилию на «Шулеров». Тут же они, эти пиарщики, превращались в три сотни переодетых в штатское военных без документов, которые якобы уже рассасывались по территории города. Они выдают себя за представителей ЦИК. Листовки в поддержку Димки печатали стотысячными тиражами, по всему городку были расставлены огромные рекламные щиты: Шулепов – с незаконнорождёнными детьми, Шулепов – со студентами, Шулепов – с мудрым, но слегка обиженным лицом.

Выражение этого лица говорило обывателю: «Вот они – мы, товарищи! Отечества отцы, которых вы должны принять за образцы!», с рекламных щитов, глядячи вам в честные глаза своими честными очами, нагло попрошайничал Димка.

Вы начинаете вглядываться, а он уже бьёт на жалость: «Устал я от отеческих хлопот. Делаешь для вас, делаешь! Себе во всём отказываешь, а вы, вахлаки, вы, неблагодарные черти, снова толкаете меня на борьбу с моим ничтожным конкурентом Аристархом Бедриным! А чем он лучше?»

Искупаемый наш обыватель пожалеет пожилого мошенника. Много ещё нас, русских идиотов. И много ещё загадок кроется в истории происхождения двуногих на Земле! Но многие же, глядя на его личину, видя перед собой беса, ещё больше укрепляются в православной нашей вере.

Телефонный шнур тянулся на кухню, откуда доносится приглушённый говор. Я наострил

слух и выделил голос Юры:

– Ду-ду-ду-ду-ду... В экономике нужна именно христианская нравственность... ду-ду-ду... когда на первый план выходят такие христианские добродетели, как жертвенная любовь к ближнему, терпение, смирение... ду-ду-ду... Да, с этой точки зрения наш реальный советский социализм был противоречив. Мы, профессиональные нищие Сибири, попытаемся обосновать иную точку зрения. Её суть в том, что экономические законы – это никакие не законы природы, как нас уверяли, а порождения нравственности... ду-ду-ду... стоимость есть функция нравственности... ду-ду...

Потом неразборчиво заболботал чужой чей-то голос. И снова Юра:

– ...А вот этот ваш постулат – низкого качества... Это из моральных норм общества «гомо-экономикус», людей, для которых главное – грести к себе... бу-бу-бу...

Я вышел на кухню. Оказалось, Юра перед зеркалом отрабатывает будущее интервью и отражает нападки мнимых оппонентов. Алёши не было видно.

– Где Алёша?

– Алехан ушёл в город по делам. Так было мне сказано!

– Он звонил кому-то?..

– Да, кому-то звонил...

«Всё матушку свою ищет...» – чувствуя в сердце сладко, опасно сосущую боль, подумал я. – Вот и оставь на тебя ребёнка, жулик...

– А не царское это дело, керя, с детьми нянчиться! Вот свет вот нам отключили, а мне нужен компьютер...

«А, может быть, Алёша звонил Анне...» В каком-то тревожном наитии я двинулся к письменному столу, где стоял компьютер и где в папках лежали мои рабочие бумаги и черновики писем. Но тут постучали в дверь:

– Соседи! Свечечки лишней не отыщется? Гляжу со двора – огоньки у вас...

– В Кремль иди! Иди в Кремль, дедушка-соседушка! – ответил Медынцев. – Там, в Музее революции, этих наших личных свечечек – воз и маленькая тележка!

– Ну, дак, что же... Извините! Смотрю: огоньки! Думаю, может, воры!

– Воры там же, в Кремле же! Здесь – лохи! Туда иди! С Богом, родной! Флаг тебе в руки!

– Что вы такое говорите! Демократы, мать вашу тетю Пашу... – Было слышно, как сосед удалялся в своих шлёпанцах. – Нелюди...

Потом крик:

– Хрена вам в сумку, чтоб сухари не мялись, козлы буржуазные! – и шлёп-шлёп-шлёп! – вниз по маршу.

– О! Правильно! – похвалил мой керя и похвастал. – Мой будущий кадр – протестный электорат!..

– Подавись этим неологизмом, вождь косноязычных! – ответил я. – Нет такого слова: «электорат»..

– Слова нет, а человек есть! – школа дяди Саши Шуйцына.

– Надоел ты мне со своими шуточками, – сказал я. Сказанное было истинной правдой. – Не напрасно мой отец говорил: проходя мимо революционера – бросьте в него камень! Шут ты гороховый.

– Вот как! А чего ж ты в девяносто третьем полез на баррикады?

– В девяносто третьем, Ваше Величество, мы, контрреволюционеры, пытались не допустить очередной революции... И ещё запомни, керя: я не игрок – я боец. Возможно, бывший боец.

– И на съезд к нам, боец, не пойдёшь? Иди к нам, у нас интересней: у вас – чёрные клобуки, а у нас – голые попки!

После деревенской тишины и спокойных раздумий мне было тяжело фехтовать с собственной тенью. Я знал Юру и понимал, что в этом словесном недержании – огромная усталость и пьянящее перевозбуждение. Я сказал:

– Недосуг мне по вашим шашкам околачиваться. Дал бы ты мне сказать там пару слов о революциях. Ни одна революция не принесла в клювике никаких благ населению, она их этим

клювиком – по темечку.

– Ты, керя, фарисей, – зевнул Юра. – Ты опасный гражданин. Ты не получишь слова, контра.

Ещё недавно казалось мне, что я на всю отпущенную мне жизнь отвык от ироничности, как отвыкают хиппи от своих рямков. Она считалась признаком живости ума и отражением светского лоска. Я знал цену этой ловушки для вертлявых обезьян. И чувствовал, что меня прибило к узкому, как ущелье, сочному, как оазис, одиночеству. Возможно, что и не навсегда. Но только в компании старых товарищей я понимал, что – увы! – очень разными путями идём мы к своему зеро. Так случилось, что жизнь моя состояла из правильных и неправильных поступков, а жизнь Юры Медынцева – из ролей положительных и отрицательных героев. В одной моей пьесе он жадно сыграл сразу три роли. И всё – достоверно. Может быть, он сделал единственно верный поступок – выбрал театр. Что же выбрал я? Мне казалось, что мое одиночество становилось как чёрное сгущённое молоко от чёрной коровы, потерявшейся в чёрной беззвёздной степи. Возможно, я преувеличиваю, но, повторяю, мнимое мы переживаем острее, нежели настоящее...

Однажды в Сербии я читал Евангелие вместо Псалтири над убитым священником. Некому было. И в какой-то момент мне показалось, что всё происходящее уже было со мной, словно расщеплённое молнией дерево, корнями я жил в родимой земле, а обожжённый ствол уже не принадлежал прежней жизни. Я не знал, где я: здесь или там, во мнимом. Я, помню, тряс головой как оглохший, как контуженный, я пытался стряхнуть с себя этот провал в сознании, как хищную рысь, что вскочила мне на спину. Он втянул меня, как омут. Потом перекрестился, прочёл Иисусову молитву – наваждение прошло. Я вновь открыл Евангелие на «Отче наш», по девятой песне канона и продолжил чтение. Но вопрос, где я был в помрачении ума, остался.

Когда начинает тянуть *туда*, я молюсь снова и снова...

23

Во времена бны было заведено «христианам, живущим во граде или веси, о тогда проставляющемся больном, яко да молятся Богу о нём». И когда больной совсем отходил, то, если он жил близ церкви, ударяли в колокол. Сейчас звонят по телефону.

Это я к тому, что прилично зарабатывал, когда на домашней молитве по благословению духовного отца совершал поминовение тех, кого нельзя поминать на церковном богослужении. В церковной молитве – един путь, по которому ради несмущения друг друга должны идти и все молящиеся. В домашней молитве большая широта пути, но направление остаётся то же, что и в церковной молитве. Православные – не только монахи, но и миряне – всегда остаются послушниками Святой Церкви. Они избегают молитвенного самоволия. Молился об умерших язычниках преподобный Макарий Египетский. Синаксар субботы Мясопустной извещает о том, что и святитель Григорий Двоеслов молился о языческом императоре Траяне. Он даже получил весть, что молитва его угодна Господу. Преподобный Феодор Студит не допускал открытого поминовения на литургии усопших иконоборцев, но говорил так: «...разве только каждый в душе своей молится за таких и творит за них милостыню». Сколько их, несчастных нехристей, уходило в вечность сейчас! На герб либерала я бы поместил козла в цилиндре, держащего в копытцах косу смерти. И – надпись по кругу:

«Либерализм – это глупость, переходящая в государственную измену, и предательство, граничащее с глупостью».

Почему? Да потому, что сказано: думай о смерти, дурень. Я бы добавил: думай про осину, иуда. Ибо сказано: три достойные вещи есть у человека: достойно жить, достойно стариться и достойно умереть.

Приходилось мне келейно молиться и за множество самоубийц. Не у каждого из близких было желание потрудиться ради любимых собратий, усердие к молитве, смирение и послушание Святой Церкви. Люди давали мне деньги и говорили нечто вроде: «Молись, брат... Он был хорошим человеком, но сломала его жизнь...»

Я честно молился.

«Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего: аще возможно есть, помилуй. Незиследи́мы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы моей, но да будет святая воля Твоя... – говорил я. – ...Ныне он совершенно в воле Твоей, Который может и душу и тело ввергнуть в пещь огненную, Который и смиряет и высит, мертвит и живит, низводит во ад и возводит. При этом Ты столь милосерд, всемогущ и любвеобилен, что благие качества всех земнородных пред Твоею высочайшею благодатью – ничто...»

Я знал, что преподобный Феодор Студит советует творить милостыню и за еретиков, а Оптинские старцы заповедуют то же делать и за самоубийц. Подумать, так все люди – самоубийцы. Не был ли и я, например, подвержен суициду, когда ходил на свои войны? Как сказать? Пожалуй, всё же не был. Я считал, что иду защищать Отечество – это мой долг. Но Вася Фимин? Он надел трофейную полковничью папаху. Мы же говорили ему: «Вася, сними ты эту папаху! Снайпер выберет тебя!» Вася смеялся: пуля – дура. Убила дура Васю. Хоть в школьный букварь вместо «мама мыла раму» пиши: убила дура Васю.

И тут по самой теме позвонил батюшка Глеб. Говорит:

– Господи, помилуй! Господи, благослови! Здравствуй, Пётр Николаевич! В районе одиннадцати я к тебе заеду. Едем, Пётр Николаевич, на улицу Маркса, в «кузбассовский» буржуйский дом отпевать мальчишку... От «ляпки»²⁵ опять парень... того... Боюсь, не последний. Вот и думай: убийство это или самоубийство?

– Думайте, батюшка. А моё дело – телячье. Мы герои сострада...

– Дак, вот! – сказал батюшка без внимания к моей болтовне. – Я думаю, что иначе как убийством это не назовёшь!

– Ну, так, стало быть, едем...

– А с другой-то стороны, вроде как сам он. Ему ж иглу-то не дядя Филя с мыловарни вставлял. А, Петря?

– На ваше усмотрение, батюшка. Вам видней.

– А-а!.. – сказал неопределённо батюшка, и в моей трубке прозвучали сигналы отбоя.

Он сказал «а». Мне оставалось сказать «бэ»: собраться, настроиться и ждать. Так я и поступил. Уезжая, Юра сказал:

– Садись за доклад, никаких тятюк-ляпок, керя!

– Сидеть за доклад будешь ты, керя! – отшутился я, но, затворив за ним дверь, сел всё же за компьютер, когда вдруг вспомнил, что электричества всё ещё нет. А ведь пошутил я не в бровь, а в глаз. Стал искать в дорогу транзистор, но поймал себя на мысли, что ищу в ящиках стола транзистор, а думаю про то, где искать Алёшу.

А через полчаса позвонил батюшка Глеб:

– Звонил я, грешный, благочинному: не благословляет. Ну и, соответственно...

– Простите, батюшка: свету нету, а в дверь стучат! Но я понял вас!

Подошёл к двери.

– Кто? – как тугодум, спросил я.

– Отойдите, а то пальнёт! – послышался голос Натальи. – Он контуженный на голову. На ум тоже шалый...

И коррозированный табачищем женский бас в скрипичном ключе:

– Открывай, свои!

За дверьми захихикали статисты. Я отпер засовы.

Это явилась Наталья с огромным пластиковым пакетом, который она прижимала к груди так, будто не в свой бывший дом входила, а выходила из роддома. Лицо её светилось счастьем и довольством, почти таким же, как лицо мэра Димки Шулепова на её пакете. Мэр Димка Шулепов средненько учился с нами в одной школе. Потом ушёл в Высшую партийную, где уже тогда учили на жуликов, и сыграл свою личную партию на слабой теоретической, но мощной материальной

25 На сленге наркодельцов, «ляпка» – взвесь талька, крахмала, димедрола, муки. Такие взвеси способны превратить любой наркотик в быстродействующий яд. Они закупоривают сосуды головного мозга, что приводит к мгновенной смерти. Это преднамеренное убийство.

базе.

Под его торсом – рекламный слоган: «На страже интересов края».

«Лучше бы ты ушёл со стражи под стражу...» – тоскливо подумал я. За спиной Натальи в полутьме виднелся мужчина с непокрытой головой, помоложе меня на добрый десяток лет.

– За каждой великой женщиной стоит великий мужчина – так гласит древняя мудрость! – как искусный конферансье, возгласила румяная Наталья. – Угадай с трёх раз: кто он?

– Это журналист Шалоумов – звезда китаевского радиоэфира! – сказал я и угадал.

Едва Шалоумов вошел в прихожую, как вспыхнул свет.

– Ура! – воскликнула Наталья, закрывая глаза ладонями. – Это – знак.

Однако мужчина, в отличие от неё, всматривался в меня так, что будь у него в глазнице монокль, то непременно выпал бы и повис на шнурке – так широко распахнулись его блестящие глаза.

– Петя?! – не то спросил, не то нетвёрдо решил он и, бросив пальто на пол, широко распахнул руки. – Шацких! Петя! Керя!

– Ха-а-а! Коська?! – мы обнялись, постояли так, помотали буйными некогда головами. – Я думал: ты не вышел с Рочдельской...²⁶

– Я же сказала: свои! – делала вид, что не удивилась, Наталья.

– Вышел я, вышел, вывернулся! – продолжал потрясённый нечаянной встречей Коська. – Мы с Мишкой-казакон ушли ещё из мэрии в три ночи. Военные уходили – и мы за ними. Всё было ясно – по Ленинскому двигались танки...

– Похоже, мы пришли на маскарад! – утомлённо иронизировала Наталья. – Но маски, на всякий случай, оставили в раздевалке.

– Помолчи, Натаха! Остановись, а? – сказал я. – Ты, Натаха, почему без звонка?

– Таков приказ командования! – ответила она, уже со значением. – Царь приказал. Это он. Анпиратор, – указала она пальцем в потолок, – прислал нас к тебе, чтобы ты дал вместо него, Анпиратора, интервью. А доклада, велит, *не нада!* Предваряю твои недоумённые вопросы царским аргументом: по радио не видно того, кто говорит. Он, благодетель наш, назначил тебя своим секретарём по идеологии. И документик вот прислал, видишь? А чего это ты, князь, боишься? Интервью – не пункция! Это совсем не больно!

– Выбрось этот липовый документ и этот пакет с этой мэрской Димкиной рожей вон в тот мусоропровод!

– Ещё чего. Там продукты.

– Продукты оставь.

Наташа послушно прошмыгнула на кухню.

– Какой-то змей подписался моим ником в двадцать один час с копейками! – через мгновение говорила она кому-то по телефону. – А я вышла с форума тремя часами раньше. Ты не заметил сдвоенного копыта?..

А мы с Коськой Евдокимовым стояли, соприкасаясь лбами.

– А ты чего это Шалоумовым стал, а, керя? И как тебя к нам, керя, занесло? – приглушённо спрашивал я.

– Так точно, керя. Я теперь, керя, не Евдокимов, а Псевдокимов, а точнее – Шалоумов... – тихо же отвечал он. – Взял звучный псевдоним, так спокойней... А вот тебя по твоей «кере» я бы и вслепую узнал!..

– До слепоты мы ещё, Коська, не дожили. Объясни: ты ведь сознательно идёшь на подлог, как журналист?

– Ты имеешь в виду интервью с Псевдомедынцевым? Так я состою в членах Лиги! Царский приказ, брат ты мой, не обсуждается! Царь сказал – народ исполнил!

Я засмеялся: редко приходится услышать необычную поговорку дважды за одно преддверие долгого утра. И мы занялись изготовлением журналистской «ляпки». Народ ждёт царя-батюшку?

26 Улица Рочдельская расположена вблизи метро «Баррикадная» в Москве. Она примыкает к территории здания бывшего Верховного Совета СССР.

Но надо помочь кере.

Интервью, в котором я, обложившись шпаргалками, дублировал Медынцева, в эфире прозвучало так:

Шалоумов (после позывных): – Сегодня в ДК «Котельщики» прошло первое заседание недавно созданной Сибирской лиги нищих и юродивых. На заседании обсуждались вопросы структурирования и управления Лиги, программные тезисы, а также идеология Сибирского царства нищих и юродивых. Перед собравшимися выступили эксперты-академики ПАНИ, помощник министра иностранных дел республики Папапуа-а-Лихсото Мгнамгнатьфу Мгномгно Мгнамгнамгну-мгну-тьфу младший, далее – руководитель Центра этнополитических проблем при краевом Союзе журналистов Мигель Хуанович Корепанов-Суховской, послы и представители корпораций нищих из бывших республик СССР. Представители США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Японии и других – не приехали. До мэрских выборов – неделя. Но уже завтра в некоем параллельном мире, в тридевятиом царстве, предстоит избрать Царя-Самодержца Сибирского царства нищих. Блестяще звучит, на мой взгляд, простите, на мой слух! И сегодня мы даём в эфире беседу вашего покорного слуги Владислава ШАЛОУМОВА с основным и единственным претендентом на высочайшее звание Юрием МЕДЫНЦЕВЫМ. Пока он – координатор Всесибирской лиги нищих и юродивых, членов которой пока ещё не развешивают на фонарных столбах и бесплодных деревьях, как делали это в средневековой старой доброй Англии. Сегодня мы нарушаем нашу традицию прямого эфира и даём беседу в записи. Итак, мой первый вопрос к Юрию Медынцеву. Скажите нам, Юрий Сергеевич, в чём суть создания столь необычной, я сказал бы даже, экзотической общественной организации?

Я-Медынцев: – Я призываю российские народы ко всенародному юродствованию. Я объявляю всех нищих своими подданными. И мы победим без всяких кропопускательных революций. Теперь вам понятна суть создания Лиги нищих и юродивых, которая впоследствии станет партией?

Шалоумов: – Не совсем. Вы говорите в стиле Леви-Жириновского. Ну, положим, призываете... Мне вот лично все эти призывы глубоко... э-э... чужды. Особо остановимся на теме «коллективного юродства». Я не понимаю: а о чём, собственно, речь? Юродивый в старой Руси олицетворял собой как бы подлинную общественность и народную идентичность. Юродство не сводилось к одному из чинов святости, но являлось важным для христианства архетипом, восходящим непосредственно ко Христу. Что, все ваши подданные – православные христиане?

Я-Медынцев: – Они станут ими, как только осознают себя и страну нищими, христарадниками. Пора пришла. «Глас юрода – глас Божий», – так говорилось в старину. Обращаю внимание всех, имеющих уши, что юродство – это обострённый опытом «блаженных» всенародный окольный путь! Это «печалование о мире».

Шалоумов: – Итак, давайте по порядку, Юрий. Вы создаёте некую социальную систему? Партию? Государство в государстве? Каковы предпосылки к созданию Лиги? Что это такое? Вместо гражданского общества – нище-паразитарный неосоциум? Я прошу, объясните.

Я-Медынцев: – Леви-Жириновский – сын юриста. А я – сын Родины, как бы патетически это ни звучало в наши дни. Теперь о предпосылках. Откройте глаза, сходите на улицу, поговорите с людьми – они вам сообщат все предпосылки. Только имейте терпение. Но я начну с общеизвестного: право и нравственность являются двумя краеугольными камнями любого общества. На двух этих краеугольных, повторяю, камнях и зиждется устойчивость любой социальной системы. Наш режим отмёл эти понятия, как подсолнечную лузгу от деревенской завалинки. И девяносто процентов населения оказались *ни-щи-ми де-факто*. С моей точки зрения, либералы, которые терзают все эти годы Россию, являются её палачами в буквальном смысле слова...

Шалоумов: – Э... м-м... э-э! Оставим в покое политику, Юрий Сергеевич. У нас не

политический клуб, имейте это в виду. Хорошо? Вы же не хотите, чтобы нашу передачу закрыли, как и глаза на всё происходящее в городе?

Я-Медынцев: – Да нет вопросов! Мы, нищий народ, являемся, по-вашему, экзотикой. Вот и понятие «бомж» стало определять тип весёлого, чудного неудачника. Скоро всех русских будут называть не россиянами, а бомжами! Во всём мире! Национальность? Бомж! Так кто же сделал человека, которому эта земля принадлежит по праву первородства, лицом без определённого места жительства? А в нынешней России только официально признанных нищими аборигенов – шестнадцать миллионов. Как вам эта цифирь? И эти люди, повторяю: лю-ди! – уже никогда не социализируются. Плюс бомжи, бездомные дети, проститутки. Есть сегодня где-либо новая партия, члены которой насчитывали бы шестнадцать миллионов? Нет.

Шалоумов: – Простите, простите! А дети – они что: тоже могут быть членами вашей... э-э... корпорации?

Я-Медынцев: – Дети – члены нашего народа. Сегодня утром один маленький нищий принц из неведомого, сказочного, может быть, мифического государства Казахстан предложил нам девиз: «*Крылатые нищие – светлое будущее России!*» Как он точен, этот бродячий футуролог! В стране, увязшей в непролазном нищенстве: займы у ростовщиков, обслуживание внешнего долга, стабфонд, больше напоминающий воровской «общак», и так далее – в такой стране быть нищим – значит быть как все. Мы, образованные люди, первыми честно признали себя условно нищими и оформили это юридически в движение. Скулить от жалости к себе и жевать общечеловеческие... э-э-э... сопли нам недосуг. В ближнем будущем – мы самая массовая, поистине народная партия России. Только общенародная партия может вывести традиционное общество из тупика. Это манёвр. Вы меня понимаете? И другие поймут. Второе «если»: если вертикаль власти не будет мощным хребтом государства, а ждать этого наивно, то фрагментация ускорится, и вслед за развалом государства начнётся распад жизненных установок каждого человека. Что будет происходить в этом случае, даже трудно представить. При дальнейшем распаде начнётся формирование групп людей, которые будут пробовать жить самостоятельно, без финансовой подпитки извне, без регламентированных условий труда и отдыха, без оглядки на конституционные нормы и так далее.

Шалоумов: – Вы мало отличаетесь от тех самоуверенных персон, которые уверенно декларируют, а народ, уверенно деградируя, слушает. Насколько реальны ваши политические прогнозы, если по-пионерски честно?

Я-Медынцев: – По-пионерски честно – это вполне возможный вариант развития событий, и о нём надо думать уже сейчас. Русские люди всегда были свободными людьми, а не рабами. А выход из рабства один – большая и азартная народная игра! Да, нас в неё втянули. Да, полтора десятилетия мы имеем дело с «напёрсточниками» от власти. Но мы уходим из-под её контроля в область *социального юродства*. Занятие, я вам скажу, очень и очень продуктивное. Более того, оно весёлое! Только мы, коллективно юродствующие, видим в мировой «пустоте» некую духовную цель всеобщей жизни.

Шалоумов: – Ой-ёй-ёй! Круто! То есть вы предлагаете всем прикинуться дурнями и дурашками?! В том числе и властям предрежащим?!

Я-Медынцев: – Православный человек избегает называть дураком кого бы то ни было. Я – человек верующий, я верю, что есть земная юдоль, а есть небесная, есть Небесный Судия, Он справедлив и неподкупен. Юродивый и дурак – понятия далеко не родственные, господин Недоумов... простите, Шалопаев... простите, Шало... путин, да?

Шалоумов: – Шалоумов, господин Бездымцев... простите, Бездомцев? Простите, Безумцев!

Я-Медынцев: – Я – Медынцев. Вот видите? Мы с вами оба мгновенно прикинулись дураками. Юродивым тоже можно прикинуться, как большинство русского населения! Это вид саботажа, это акт массового гражданского неповиновения! Это весело, в конце-то концов! Прикинулись же некоторые коммунисты либеральными демократами – прошло! Так сыграем с ними в подкидного дурака: кто кого? А для начала пусть ответят народу на один-единственный вопрос: *кому должны все до одного государства мира?* А мы уж с этим кредитором поговорим.

Шалоумов: – Хорошо, адресуем этот вопрос всем, кто слушает нашу программу. Надеюсь,

что мы немного развлекли наших радиослушателей. Итак, просмотрев программные документы Лиги, я понял, что с финансами в Лиге всё в ажуре. Ваша общая казна, так называемый «общак», – два миллиарда долларов. Ещё я понял, что в перспективе вы отмените внутри Лига хождение государственных денег и перейдёте на внутрисистемные деньги. Помните ли вы, что случилось в Камбодже, когда полпотовцы решили отменить деньги, отменить товарно-денежные отношения?

Я-Медынцев: – Камбодже – камбоджино. Как живут они – лях или турок, сакс или гот, негроид или японец – мне плевать на них с простреленного дирижабля времён Антанты! Мы – всего-навсего общественное движение и к властям предрежащим не имеем никакого отношения. Не в нашей власти отмена денег или их реформа. Но садится же рубль на одном гектаре с долларом! Им не тесно. Найдётся место и для наших денежных знаков. Давным-давно Сильвио Гезель сформулировал идею «естественного экономического порядка». Этот порядок обеспечивал такое обращение денег, при котором они становятся государственной услугой. За пользование этой услугой люди отчисляют государству плату. И никаких процентов тем, у кого больше денег, чем им нужно! Иначе говоря, для того чтобы вернуть деньги в оборот, люди должны были бы платить небольшую сумму за изъятие денег из циркуляции. Эта плата идёт на пользу не отдельным индивидуумам, а всем членам общества. Для того чтобы сделать эту мысль более понятной, можно сравнить деньги с железнодорожным вагоном, который, как и деньги, всего лишь облегчает товарообмен.

Шалоумов: – Какое-то виртуальное государство получается!

Я-Медынцев: – Получается, вы считаете?

Шалоумов: – Я имел в виду труды Торо. Он говорил: «Если человек свободен в своих мыслях, привязанностях и воображении, и то, чего нет, никогда надолго не предстаёт ему как то, что есть, ему не страшны неразумные правители и реформаторы. Правительство имеет лишь те права на меня, какие я за ним признаю».

Я-Медынцев: – Вы с Торо близки к истине. Ещё в советские годы я изобрёл для себя такую идеологию: я – суверенное государство из одного человека. Почему бы нам это государство не расширить? Объявляю свободный вход. Нам, нищим, чтобы взять власть, не требуется осуществлять классический кризис-менеджмент. Он создан богачами. А в понимании кризис-менеджера, которым в данном случае являюсь я, кризисом нужно только умело управлять.

Шалоумов: – То есть как описано у Марио Пьюзо: крёстный отец выручал людей из неприятностей, созданных его же действиями?

Я-Медынцев: – Верно, хотя и правильно. А ещё проще, создание управляемого кризиса дано в фильме Чарли, надеюсь, Чаплина-Джоплина «Малыш». Там сынишка бьёт чужие окна, а папа ходит следом и вставляет. И неплохо зарабатывает! Корпорация! И вам, господин Шалоумов, я предлагаю, пока не поздно, вступить в неё. Повеселимся! Нам нужны умные люди.

Шалоумов: – Одна-а-ако! Но я не нищ!

Я-Медынцев: – И каков же ваш счёт в банке, позвольте уж вас спросить?

Шалоумов: – Какой уж там счёт!

Я-Медынцев: – Значит, вы – наш, вы – условно нищий без «уе»!

Шалоумов: – У меня всё есть, мне всего хватает, благодарю. Наше время в эфире, к сожалению, истекает праведной кровью. Завтра слушайте мой репортаж с этого фантастического съезда нищих, который, судя по интернетовским форумам, вызвал огромный интерес общественности всей страны к происходящему в нашем славном Китаевске. Коллективно вступить в Лигу изъявляют свою добрую волю многочисленные общественные организации страны.

Я-Медынцев: – Это ещё цветочки, компот из ягод – впереди!

Шалоумов: – Ну, что ж! Мне остаётся поблагодарить нашего гостя – будущего, надеемся, Его Высочество Государя Всех Нищих... Юрия Первого. Ну, что же! Ещё в 1930 году Святитель Феофан Полтавский предрекал: «В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он, прежде всего, наведёт порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретических и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми

исключениями почти все, будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место... Произойдёт то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мёртвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле». Скажу ещё, что всем, кто желает ознакомиться со структурой Лиги глубже, я рекомендую звонить по телефону сорок-сорок семь-девять. Завершая беседу, хочется сказать, что инстинкт жизни, умноженный на пока достаточную образованность людей и коллективную врождённую солидарность, может породить совершенно неожиданные формы существования. Если предположить, что точка «невозврата» уже пройдена и процесс распада естественно ускоряется, то социологам, психологам, политологам и многим другим пролетариям гуманитарного спецназа надо уже сейчас чесать репу и прорабатывать версии, инверсии и, следовательно, контрверсии такого ожидаемого будущего. Да здравствует дарованная нам либерастами свобода слова! Её не расклевать соглашателям, конформистам, дуракам, голосами которых полнится священный эфир. И почему-то мне вспомнились сегодня красивые слова умного дяди Ницше. Он сказал так: *«Я отдал бы всё счастье Запада за манер русских быть печальными...»*. До новых встреч на эфирной свалке, господа!»

Вот так мы с Коськой поработали. Он сказал мне восхищённо:

– Ну, ты силён, керя! Тебя надо беречь, как девичью честь! Вот артист так артист! Ты что, готовился?! Это ж моя лучшая передача! Хит сезона!

Я рассказал ему, что пьесы для Медынцева пишу с молодых ногтей.

25

...Первая была написана прямо на заснеженной улице Кубовой, когда после уроков мы ватагой вышли из четвёртого класса нашей деревянной школы. Я нёс домой две пятёрки и завернутый в промасленную бумагу калач за три копейки для сестры Анютки. Медынец нёс два кола, исправленных на четвёрки и единственные в классе карандаши двадцати четырёх цветов на три радуги с половиной. По улице прошёл роторный бульдозер, наделал по обочинам эвересты снега, за ним нескончаемой чередой шли из карьера гружённые бутовым камнем МАЗы. Казалось, их не переждёшь, чтоб попасть на ту сторону улицы. Тогда я снял ранец, раскрутил его за лямки и с вершины сугроба перекинул через поток машин. Разве Медынец отстанет? Он тоже раскрутил и тоже кинул свой тяжёлый портфель с двумя отделениями и привязанной к ручке сумкой со «второй обувью». Портфель шмякнулся в кузов ревущего самосвала и-и-и поехал в светлые коммунистические дали. Ну, и Медынцу бы дома задали таску, если б я не придумал сценарий возвращения. Не стану его пересказывать, чтобы не портить нравы, тем более что портфель через неделю вернулся. При разгрузке сломались все двадцать четыре карандаша, однако кости Медынца остались целы, а главное – под шумок он избавился от ненавистного дневника. Мы обложили его паклей на стройке, сделали костерок из карандашных обломков и подожгли дневник. Колы горели на диво! Этот костёр не забыть нипочём.

Позже Юра сыграл в двух моих пьесах, написанных под него, и в одной фильме.

Затем Шалоумов-Псевдокимов рассказал мне, что той осенью убежал в глухой район Ростовщины. Но взяли его зимой на берегу казачьего Деркула, куда зазвали его порыбачить местные большевики. Едва зашли в балок да налили под уху, как начался маскарад: вломились «маски», потребовали предъявить документы и вещи для досмотра. Тут же подсунули в его рюкзак несимпатичный пистолет и равномерные патроны.

– Большевики, керя, знали меня под кличкой Лунь. А провалила меня племянница одного из болов по фамилии Панарин. У неё дроля в ментуре. Я с ней общался как с любой другой барышней, ничего особенного о себе не рассказывал. Раз поцеловал сдуру. Видно, Панарин ей похвастал мной: это, мол, важная птица! Она – своему дроле, свой дроля – начальству. А вывезли меня тепловозом через мостик на Украину. Очки разбили и прямо в грязных сапогах – прессовать...

– Кто – в грязных сапогах?

– Все... – усмехнулся он. – Туда лучше не попадать. В карцере крысе был рад, хлеб ей от пайки отщипывал. Заварку сухую есть научился – она не ела. Зато, керя, думать никто не мешал по десять-пятнадцать суток. Три года под следствием – хоть роман пиши...

Он говорил, что когда ехал сюда, на Алтай, хотелось изменить внешность. Но недостаточно изменить внешность, чтобы тебя не узнавали те, кто для этого призван на службу чувством долга, или романтикой сыскных будней, или стремлением к тайной власти над людьми. Лысину покрой театральным клеем и нахлобучь на неё красивый парик – это красиво. Сбрей усы, которые почти десятилетиями ублажали дамские взоры. Цвет глаз измени оптическими линзами. Купи дорогую трость с кинжалом в рукояти, чини этим кинжалом карандаши. Запоминается, как говорил Штирлиц, уводит от твоей сути внимание людей. Оно и без того рассеяно, разодрано, развеяно в прах зрелищем сноса Отечества. Заведи две-три привычки, необычных в глазах новых приятелей. Пей, например, пиво только вместе с кефиром или молоком. Эта отвратительная привычка запоминается. Публично кури марихуану, а водки не пей. Вместо марихуаны забивай в косяк чуточку нюхательного табаку «золотая рыбка». Или под видом кокаина втягивай в ноздрю измельчённый стрептоцид. Да, сие противно естеству по вкусу и по цвету, но помни: тюремная пища и тюремный воздух куда как отвратительней. Засветись пару раз на панели с девушками нелёгкого поведения. И ты прослывишься благонадёжным, то есть безопасным для власти. Главное, изменить мелкие привычки, а это нелегко. Это полностью невозможно, *следовательно*, гаси их крупным мазком, экзотикой – прослыви неприятным чудачком, рыцарем без страха и укропа. И последнее. Забудь, что миром правит Маммона. Откажись от тоски по тем, кого считал друзьями, вождями и героями. Не рассуждай о грешных и праведных. Это поправит смятение души, которое заставляет уединяться от людей, чтобы уйти в свои неземные раздумья.

– Нам с тобой, керя, этих раздумий хватает, – сказал он в завершение рассказа. – И тут я тебе завидую: ты писатель... тебя-то Молдавия перестала разыскивать как военного преступника?

– Не хочу помнить, Коська. Перегорел я что-то. Так и есть – перегорел...

А вечером наше с ним интервью со сладострастным вниманием слушали опричные люди в местном отделении ФСБ. И кто знает, на чьей стороне выступили бы сегодня два матёрых чекиста, очарованные в молодости светом служения Родине, а потом молча осознавшие, что служить надо народу, ибо он и есть – Родина. Однако обратного пути не было. Коготок увяз – всё рыльце в пушку.

Народ же этот, как в долгую неласковую зиму или как щепка в мутный водосток, втекал в нищету. И молчал, обиженный сизарями, наивный бронзовый лох Маяковский, изрёкший:

Лишь лёжа в такую вот
гололедь,
Зубами
вместе
пролязгав,
Поймёшь:
нельзя на людей
жалеть
Ни одеяла,
ни ласки!

Был, впрочем, в Китаевске местночтимый поэт-шелапут, который цинично восклицал:

Если нету в доме денег,
привяжите к заду веник,
чёрно с белым не берите,
«да» и «нет» – не говорите,
и не пейте, не курите,

Да смотрите, ой, смотрите:
денежками не сорите!
Ну а, впрочем, как хотите:
насорите – подметите...

Вы думаете, что по-человечески голосит пила, когда расчленяет дерево? Это голосит не пила – дерево, даже если оно уже лишено корней.

26

...Субботними зимними вечерами, когда за окнами расцветала морозная сирень, в горняцком «шанхае» назначался аврал. Те, у кого полы были некрашеными, скоблили их ржавыми тесачами до тех пор, пока не начнут источать древесного запаха. У нас полы были крашеными. Тогда суббота ещё не была возведена в русскую жизнь в талмудическом её значении, но синие, калёные красно-белым морозом зимние вечера субботы казались слаще сахара. И у нас после аванса и получки, дважды в месяц, собирались взрослые люди, чтобы играть. Они играли, смешно сказать, в лото или в известные всем головоломки, а поскольку таковых оказалось немного, то в компанию старались заполучить новенького, который не знает, как сделать, например, пятиконечную звезду из пяти спичек? А нужно надломить каждую пополам, плеснуть воды на зеркало и на его глади состыковать влажные основания углов. Или загадка: человека посадили в тюремную камеру, и ел он только хлеб сухой. Когда его освободили, то из камеры вынесли мешок рыбьих костей. Откуда кости? Оказывается, несчастный варнак ел хлеб-то с ухой. Или произносилась такая заковыка: когда на поле он пришёл, поля кипели соловьями. Вопрос: кто пришёл? Оказывается, пришёл Наполеон, а поляки – те и пели соловьями. Ухохочешься над нашим салоном. Однажды в крещенский вечер собрались: тётя Аня с гармошкой-полухромкой, юная продавщица из чайной Ляля Наумкина с кавалером ордена Боевого Красного Знамени Сигутенкой, начальник снабжения Роман Захарович Штурман с не работающей никем женой Мусей, супруги Медынцевы и кое-кто из вездесущей публики, как дедушка Клюкин. Сидит как ни в чём не бывало и крутит отменные сигарки с махрой. Позже всех прибился на огонёк и один из соискателей руки двоюродной моей сестры-сиротки Маши, бухгалтер Володя. Прихожей у нас не было. Дверь открывалась прямо в обиталище дома. Потому все замерли и стали смотреть на Володю и Машу. Его волосы были гладко зачесаны со лба к затылку и скреплены на том плацдарме гребёнкой. Остриё носа, как нож, целилось в горло моей бедной румяной сестры – Володя был горбат, бледнолиц и конопат. Длинные пиджачные руки его по локоть были взяты в поручи чёрных сатиновых нарукавников и заканчивались узкими пальцами.

– Здравствуйте, дорогие товарищи! – сказал этот конопатый воробушек.

– Здравствуй, здравствуй, морда красна... – прогудел кавалер Сигутенко.

– Ой, не гуди под самым ухом, а! – поморщилась Ляля. Она показывала свою власть над орденоносцем. – Ты бы лучше бы Пушкина бы почитал!

– Пушкина читать – ума не надо...

– Здравствуйте, Мария Васильевна... – продолжал соискатель.

– Здра-а-а-вствуйте! – улыбнулась нарядная сиротка, глядя на него, как и на всех иных, с добром и лаской.

– Вам! – он протянул Маше грампластинку в пакете с надписью «Апрелевский завод». – Это – «Чардаш» Монти!

Маша молвила:

– Монти? Чардаш? Вот это да-а-а!

«Ей бы, сиротке, главное, в люди выбиться, а тут целый бухгалтер...», «Да ещё и, главное, не запойный! В "москвичке"²⁷, в костюмчике...», «В галошах, главное!», «...Ест, главное, немного...» –

ехидно говорили о Володе мама с товарками, когда лепили пельмени. Красивой Маше было едва ли не шестнадцать лет, она училась играть на скрипке, потому что училась в китаевском музпедтехникуме. Отец её умер от тяжёлой контузии в новосибирском эвакогоспитале, а маму – тётю Аграфену – убило молнией, когда она шла с покоса и держала косу-литовку на плече. «Коса молонью-то и притянула...» – объяснял знающий дед Клюкин. А Маша стала жить у нас и притянула бухгалтера. Молоньи поблёскивали в его рыжих, похожих на клопиков, глазах, когда он нет-нет да и глянет на неё с огненным вожделением.

– Сегодня я покажу вам живую кровь! – пообещал он Маше.

– Не на-а-а-до, – взмолилась Маша. – Я боюсь крови...

– Это совсем не то, что вы думаете!.. – Володя ловко скинул галоши, став ещё приземистей.

– Нет, сначала пельмешки – потом кровь! Сперва пельмешки с уску... суксу... тьфу ты! – остановилась около мама с блюдом пельменей на руках. Это блюдо из мейсенского фарфора принесли с собой Медынцевы.

– С уксусом! – подсказал Володя и бесшумной тенью проскользнул к столу и выставил невесть откуда чарующей красоты тёмно-зелёную с золотыми позументами на чёрном бутылку советского шампанского. Все так и обмерли.

– Сухое? – в наступившей тишине спросил дядя Серя Медынцев.

– Сухое! – потёр ладони, как муха лапки, Володя. Казалось мне, что с лапок на скатерть сыплется жемчужная, перламутровая пыльца, так всё было сказочно и блестяще.

– Подделка... – ревниво сказал дядя Серя, взял снаряд в свои артиллерийские руки и поднёс к лампе Ильича, зависшей над столом. – Театральная гаубица!

За столом уже сидели все гласные и негласные члены компании. И все они, привыкшие к вечерним играм, следили за артиллерийскими руками, словно ожидали нового аттракциона. Я сидел у печки и делал вид, что учу уроки. «Настоящий праздник! – думал я. – Впервые за восемь лет жизни!»

– Настоящее. Брют! – возразил Володя.

– Врют, говоришь? Согласен! Врют! – сказал дядя Серя. – Так себе – разок резануть по утряне! – Но продолжал изучение. – «Московский завод... шипучих и шампанских вин...»

Тетя Ира курила, она оглядывала собрание с ободряющей улыбкой: смотрите на меня – и не переживайте. Но не замедлила сказать мужу:

– Поставь на место...

– Кого, тебя? Сейчас! – уточнил дядя Серя, но поставил сосуд с приговором: – Действительно, сухое!

Все перевели дыханье и зашумели.

– Это женщинам, женщинам! – щебетала тётя Аня, мать Светы. – Насыпайте, раз уж сухое!

– Кто откроет шампанскую? – звучал текущий голос тётя Ляли с жеманными порошками. – Артиллеристы или полковая разведка? Штурман, рулите!

– И – эх! – выдохнула из грудных мехов тётя Аня и развела малиновые мехи полухромки.

– ...полным-полна моя коро-о-обушка! Есть...

– Есть! – козырнул мой батя. – Есть пехота! И не хуже! – он выставил из-под стола водку за двадцать один двадцать. Водка встала рядом с шампанским, как утлый бухгалтер Володя рядом с красавицей Машей.

– Есть пельмени – они на столе! – сказала мама, одетая, как конфетка, в нарядное крепжоржетовое платье. Тёмно-вишнёвое поле и по нему малюсенькие букетики нерусских цветов.

Но утлый бухгалтер Володя ловко вывернулся из-за стола и, едва видимый, как паж за царской трапезой, раздал всем по конфете «Кара-кум», говоря:

– Тебе, кума, кара-кума... тебе, кум, кара-кум... Тебе, Пётр Николаевич... – он выдал мне грецкий орех. – Скоро в армию пойдёшь! Завидую! Я очень хотел быть офицером, но в детстве мама не уследила, и я упал в подпол. В сумме, как видите, горбень... – И дальше так быстро, что

не услышал моего тихого «спасибо».

– Э-э! Когда Петручио с моим Юрханом вырастут, армии уже не будет как таковой! – сказал дядя Серя. И он угадал. То, что мы именуем сейчас армией, по сути таковой не является.

– А это – Маше! – он извлёк из одежд плитку шоколада «Гвардейский» с оранжево-чёрным муаром на обёртке.

– Ой!.. – сказала тихо наша бесприданница, заневестились, заалела до слёз. – Но мне ещё рано замуж!..

– Да, к сожалению... – так же тихо сказал горбун, и зеницы его расширились, вспыхнули, как у колдуна Басаврюка. – Но я буду вас ждать... Вы – королева. У королевы должен быть горбун.

– Ха-ха-ха! – отметил печальную шутку кавалер Сигутенко. – А я вам песенку спою-у, как шут влюбился в королеву-у-у... – и пояснил: – Вертинский Саша!

Потом – шум голосов, звон стаканов и стопок, шевеление губ, движения рук над столом, улыбки дам с набитыми ртами и не набитыми ещё лицами, чего, впрочем, в присутствии моего отца не случалось. Одна застольная игра переходила в игру на гармони, потом – в фанты, потом – головоломки.

– Володя, Володя! – жестами требуя от гостей тишины, взывала мама. – Вы обещали показать живую кровь!

– Ни сера хебе! – выпучил глаза дед Клюкин и просыпал махорку. – С ума стронешься!

– Не откажусь! – кивнул Володя, отлепив взор от Маши. Мне-то, грешному, казалось, что его клопики-глаза уже пьют Машину живую кровь. – Но пусть вначале то же самое – живую кровь – покажет кто-нибудь из почтенной публики! Прошу! Приз – шампанское!

– Ой! – сказала Маша, спрятав лицо за плиткой шоколада.

Ляля тоже зарделась, захихикала, пошептала с тётей Аней. Та сказала «ща-а-ас прям» и поджала губы.

– Живую кровь? – с прищуром глядя на бухгалтера, переспросил дядя Серя. – Ты не видел, керя, живой крови? А если святым кулаком да по окаянной шее?! – Он стал закатывать левый рукав рубахи. Я видел дядю Серю в бане, и мне показалось, что из его рукава сейчас начнут сыпаться дробью шрамы, пулевые отметины, веснушки и родинки.

Володя, однако, не дрогнул, а сказал:

– По горбу, будьте любезны! Это не заразно!

– Но это же фокус, Серя! Рано ты развоевался! Я хотела ещё бутылочку достать – теперь баста! – нахмурилась моя мама. – Все трофейные блюда перебьёте, а я – отвечай!

– Я им перебую... – спокойно пригрозил отец.

– В том и фокус... – засмеялся дядя Серя. И все засмеялись. – Кто первый? – и рубанул себя столовым ножиком по предплечью руки. Все перестали смеяться. Но крови не было.

– Ох-х! – сказала Маша и снова спряталась за гвардейский подарок.

– Эх-х! – сказала тётя Ира, послунила языком палец и потёрла им белую отметину на руке мужа.

– Кто тут ножи точит, Ивановна? – спросил дядя Серя у моей мамы. – Гони в шею!.. Но шампанское будет моим!

– Ш-ш-ш... – шумно втянул носом печное тепло бухгалтер. – Штурман, рулите! Вы же хотите шампанское для мамуси Муси? – и выдохнул, как оперный тенор.

– Кто не гискует, тот не пьёт шампанского! – ответил начснаб. Он возбуждённо теребил шерсть, которая торчала из него по всем видимым полоскам тела. – Я не гискую, но гискну! – он царапнул указательным пальцем старый бритвенный порез на подбородке, но короста отпала тихо и бескровно, как осенний лист. – Дикость! – сказал он, глядя на свой белый палец. – Зачем?

– Фу т-ты! – передёрнула плечами тётя Аня и нажала на пуговицы гармони. – Маша, деточка, родная, сыграй на скрипке!

– Сто-о-оп! – остановил самодеятельность кавалер Сигутенко. – Живая кровь... живая кровь... Это в переносном смысле, да, Володя?

– М-м-м... – помычал Володя, обживающийся в центре внимания. – Не сказать, что в переносном. Нет, нужно показать свою настоящую живую кровь.

– Свою? Дак, может, Васю Чахотку позвать? – сказал дед Клюкин.

– Ой! – сказала Маша. – Лучше уж Тому-трахому!

Повисла туго натянутая пауза. Как тент. Как бинт.

Как Кант. Как Ницше.

– Сдаётся? – великодушно спросил горбун. – И шампанское пьем вместе!

– Сдаёмся-а-а! – радостно, как победители, воскликнули компанейцы.

– Кто это сдаётся? Мы – сдаётся? – вяло вскинулся дядя Серя, которого никто не боялся. – Интеллиго на ляжках! Щас вот этим саксонским блюдом – да по башке!

Володя обнажил наручные часы «Победа».

– Засаекаю минуту! Время пошло!

– Новый год, что ли, туды-т твою в растопырку! Куранты будем бить! – совсем смирился дядя Серя и почти что задремал.

Он едва не угадал. По истечении минуты бухгалтер строго посмотрел на лампочку Ильича, встал на табуретку, на которой сидел. Он сложил ладони чашей.

– Ё-ка-лэ-мэ-нэ! – изумленно сказала Маша, прекратив кормить меня вкусным волшебным шоколадом. – Что это он делает?

– Во, жёлтый дом! – проснулся дядя Серя. – Заучимшись! Обсчитамшись! Ты бы, керя, на стенку лез, а не на стол!

– Понял, когда пронял! – догадался дедушко Клюкин. – Он будет со стула диклумбировать стихи! Потом мужики почнут его бить – вот она те и жива кров! – и хряпнул стопочку при отвлечённом внимании компанейцев. – У нас всё по графику!..

Володя же стал тянуть чашу рук к лампочке так, словно хотел бережно снять её, наливную, и унести дорогим грушевым плодом в музей человеческого счастья. Все замерли. Руки Володи уже малиново вспыхнули живой кровью на просвет, когда дядя Серя рявкнул:

– Огонь!

Табуретка качнулась под Володей, он стал балансировать, как вспугнутый паучок на невидимой нити, и не вдруг рухнул всем телом в ушастые пельмени, как в тот подпол. Под ним морозно хряпнул трофейный фарфор.

– Ах! – воскликнула Маша, вскочила и кинулась к своему поклоннику, который лежал на столе, как рождественский гусь, и не колыхался. Из его клювика в уксус пельменей обильно шла живая кровь. – Помогите! Он неживой! – быстро, как во сне, говорила сестра и щепотками тонких пальцев тянула соискателя за вздыбленную спинку пиджака.

– Номер был смертельный! – сказал дядя Серя. – Называется «Гуттаперчивый счетовод»!

– Тьфу на тебя! – сказала супруга. – Помогай давай!

– Кговь, товагищи! Кговь! Муся – кговь! – завопил месье Штурм и рванул на улицу рвать.

– Он мне блюдо расхреначил – раз, пельменям карачун – два, а я ему и помогай! – удивился дядя Серя, но подёргал бухгалтера за брючину: – Рота, подъём! Засаекаю время! Время пошло! – и он торжествующе обнажил левое запястье с английскими часами.

– Какая под ём рота? – продолжал язвить дедушко Клюкин. – Под им батальён пилименей!

– Интересно, а кто заорал «пожар!»? Кто напугал балансирующего человека? – укорила тётя Ира, активно участвующая в стаскивании Володи со стола.

– Я сказал «огонь», а не «горим»! Не надо тут это ваше мулине!

Женщины водрузили Володю на ноги, подняли с пола гребёнку и всё вставляли её в его оскорблённые волосы.

Володя стоял как на суде. На пиджаке, на лице его смешались уксус, кровь, слёзы, выражение вины и мольба о прощении. Он плакал и говорил:

– Я старался, Маша... Я старался...

– Вот и... обс... обстарался... – заканчивал вечернее выступление дедушка Клюкин. Он достал кисет и пошёл курить на крылечко. – Шампанство до добра не доведёт! Вона мы браги, быват, с Мишкой наварим, аж подошва к полу липнет. А прилип – уже с ног не свалишься... Что ваши моряки...

А Володя плакал:

– Ты никогда уже не полюбишь меня, Маша...
– Полюблю! – обещала Маша. – Не плачь, маленький! Игрушечка ты моя заводная!
– Как же маленький! Игрушечка-то у него, поди-ка... – сказал дядя Серя и так ему стало весело от своих фантазий, что когда тётя Ира била его по губам, он смеялся еще пуще.
– От те и дым по деревне! – сказала тетя Аня. – Горько, ли чо ли?
– Погоди, Анька, горчить-то! – сказал батя. – Давай, душка, по нашей по белоголовочке! Ну их!

– Кто Маша? Кто я? Я – игрушечка? Нет, нет! – рыдал Володя. – Нет, я не верю своему счастью! Его не должно у меня быть! Ма-а-а!...ша-а-а!.. Ты... ты... в тебе... в одной тебе живая человеческая кровь.

– Утереть жениху сопли! – скомандовал кавалер Сигутенко. – Умыть! Увести с моих глаз! Наливай!

Женщины заново накрыли стол, завели патефон, и веселье вспыхнуло, как уголья пожарища, на которое подуло ветром.

«...Сколько же лет тогда было *моим*? Помоложе были меня нынешнего. Почему звучит во мне, как птичье пенье поутру, это бедное на хлеб, но роскошное детство? Их уже нет, а я готов мстить за них, посмертно обобранных в дедах, отцах и детях. Почему? Почему мстить – это «не по-христиански», скажите вы мне, заброшенные могилы? Царство же вам Небесное, мои вечно взрослые добрые люди... Может быть, не они это, а я умер, и это мою обвалившуюся могилку занесло снегами... Может быть, в жизни важно одно – быть добрыми и строгими к детям в любой нужде. Где вы, родные и понятные мне суфлёры? Куда унесло от вас мою льдину? Зачем оставили вы меня одного на сцене и не приходите в зал? Вот я и сам уже иду к вам, распевая акафисты. Кто я здесь? Затем ли я родился от честных родителей, чтобы терпеть насилие над своими святынями? Зачем я, обессилевший уже, пыжусь в этой нечистой комедии о нищих? Затем, что хочу дышать по-своему и отказываюсь повиноваться требованиям квазигосударства, не хочу иметь с ним ничего общего. Посмотрим же, кто сильнее. Постоим ещё мы с Коськой...»

Снова я чувствовал ту послемятежную, смертельную усталость, как эпилептик чувствует приближение ауры.

«Или уйти?.. У меня есть путь... Возьму Алёшу – и навсегда в деревню. Прокормимся, с голоду не сгинем!»

Но только где он, Алёша? Я подошёл к компьютеру, открыл почту. Ничего, кроме шального письма:

«Глас: всем

Просто прошу о помощи братья. Я сам к сожелению так вот получилось живу в сша, так тут русских просто ненавидят, меня оклеветал американец, так меня даже не выслушав бросили в тюрьму, позже я спросил, адвоката, что происходит, так он мне прямо сказал, мне не верят потому-что я русский, каждый русский у них это выходит бандит и его можно запросто обозвать факин рашин и бросить в камеру, вы представляете ребята, что здесь твориться и вернуться на родину не могу потерял гражданство и не пускают на родину. Вот так и мучаемся мы русские, надо всем собираться в кулак. Люди здесь злобные, продукты все на химии, ребята не дай Бог если янки придут в Россию!!!»

Орфография и пунктуация сохранены. Это не Гендын, это не в его стиле.

«Ваши янки уже здесь! – мысленно ответил я господину под ником "глас". – Ошибок понаделал, но слово "Бог" написал с заглавной буквы! Может, зачтётся!..»

И тут затрещал телефонный зуммер... уммер... уммер... уммер...

ещё лет пятьдесят назад. На тёмном, марксистски красном кирпиче стояло клеймо горнаульского заводчика Балдакова, которого в первые же дни революции чекисты утопили в отхожем месте, а черёмуху в палисаднике вырубил пулями из пулемётов. Их преемники, примерно раз в двадцать лет меняющие аббревиатуру, прочно обосновались с той поры в этом доме, глаза которого были целомудрённо зарешечены и зашторены. Всё у них было другое. Даже аромат черёмухи стал газом.

Случалось, что одно из окон китаевского отделения ФСБ слабо светилось ночами. Это работал член демократического союза писателей полковник Вельсапаров – мужчина с широкими в запястьях костями рук и выпуклой полусферой лба. Внешне он был ярок. Но яркость эта опасно ослепляла людей. Она была оборотной стороной известной невзрачности сотрудников спецслужб. Тут у художника пошли бы в ход стронциановая жёлтая, каковой была кожа лица, и розово-красный крапlak, чтобы передать цвет губ, и синяя лазурь на бритые щёки. Спектральные краски, возможно, даже бы и не понадобились. Он был метисом – смесью таджички-мамы и папы-афганца. К тому же чуточку косил на правый глаз, оттого что в детстве много читал, лёжа на боку. И что бы ни говорил умствующий обыватель, а Григорий Климов ничего зря не брал в расчёт, потому что многое в его «Князе мира сего» оказалось правдой.

С тридцать восьмого года в НКВД существовала инструкция за № 00134/13. Неспроста в её номере дважды проставлено число тринадцать. Здесь были перечислены основные признаки дегенерации, с которыми дорога в «органы» и сниться не могли. Но времена менялись. Вельсапаров с его кишлачной внешностью был очень кстати на центрально-азиатском направлении.

Началось с того, что когда ему было восемь лет, семье пришлось уйти от гибели из Афганистана в Союз. Он привык к долгим отлучкам отца. Назывались они командировками. Однажды отец уехал и не вернулся. Лишь через много лет Курбан узнал о том, как и почему отец исчез навсегда.

Курбан поступил в педагогический институт. Он учился на учителя трудно – по ночам разгружал вагоны на угольном складе. К тому времени знал все тюркские наречия и фарси. По-русски говорил как хороший литератор. У него была врождённая способность болтать на чужом языке. В армии его направили в окружную разведшколу: стрельба, рукопашный бой, минное дело, радио. Позже и «гаврилку» – так он называл галстук – носить научился. Через год переводил оригинал Шекспира на русский язык. Он отучился в спецшколе, а тут и срок службы кончился.

Курбан уехал в Таджикистан и преподавал в горном кишлаке физику. Там женился на учительнице же, родились дети. И только навыки разведшколы начали забываться, как нарочным его вызвали в органы. Он бы не пошёл на спецкурсы для «закордона», но ему рассказали о гибели отца-разведчика. Он чтит память об отце. Хотелось отомстить.

Для семьи и односельчан была придумана легенда, а его привезли в одну из центрально-азиатских столиц. Куратором Курбана стал полковник Эрастов. Он же и опекал шпиона Курбана в течение всей карьеры. Вместе были на войне в Афгане.

Возьмись художник живописать Эрастова, он извёл бы много красок, а что в итоге? Лицо на портрете могло получиться похожим на июньское море: пар – не пар, дым – не дым, вода – не вода, а туман в распадке. Лицо это, впрочем, имело все свойства воды: оно могло быть ледяным, текучим и газообразным. Эрастов был на шесть лет старше Курбана. В девяносто четвёртом его с почётом изгнали из органов госбезопасности, сватали в милицию. Но уж он-то знал, какой подарок мечтает получить милиционер-чебурашка в день своего рождения. Не чеченскую бурку. Не девушку, в чём мама родила. Милиционер хочет, чтобы на какое-то время о его существовании забыло Главное управление собственной безопасности. Милиция – это бандиты в золотых погонах. Может, и были времена, когда под милицейской шинелью часто и чисто билось идейное сердце. Он считал эти «органы» требухой. И вполне доволен был своим местом в службе безопасности одного из крупных финансистов края. В кругах звали его Пал Палычем. Потом – Палычем. Потом – Палачом.

Новый президент вернул Эрастова на государственную службу генералом. Эрастов вернул Вельсапарова, о котором был слух, что тот погиб в высоких кавказских горах, но в высоких чинах. Легенда гласила, что погиб он, выручая сына, который воевал в составе батальона специального

назначения 12-й мотострелковой дивизии Минобороны России. Это горная группировка. Старожилы госбезопасности не припомнят случая, чтобы в органы возвращали после отставки и пребывания в небытии. Но вот друзья вместе, как и прежде. Эрастов поставил ему стол в своем кабинете.

– Как раньше... – сказал он. – Пока ремонт не закончится...

Только раньше они беззаветно служили иному богу.

Но, может быть, он оставил свой стол в кабинете Вельсапарова, поскольку табличку со своей фамилией с двери приказал снять и переправить на новое место.

Это он положил перед Курбаном Вельсапаровым кипу бумаг.

– Изучай. Вычисли мне его срочно.

Курбан вникал в распечатки крамольных текстов, оставленных Эрастовым.

«Так... "Интервью с анонимным мыслителем"... Беззаветный герой...» – с тоскливой иронией думает о мыслителе.

Мысли, как тихо пущенные бильярдные шары от борта, откатывались от текста и, кажется, не касались одна другой. Где-то за окнами заведения, на древних улицах, заваленных обильными снегами, жили и вымирали беззаветные, безответные герои.

«А что такое "беззаветность"? Нет ли связи с Ветхим Заветом? Не атеистический ли это "пофигизм", что называется? Или "беззаветные" – это безбашенные?

Так он включился и пошёл в арабский язык и нашёл там, что беззаветно любить, быть беззаветно преданным, беззаветно верным – «самозабвенным» происходит от арабского – *«инка:р аз-зава:т* – «самозабвение», «отрицание себя», где арабское *«инка:р»*, «отрицание», заменено русским «без».

Он остался доволен разминкой. Вопреки возрасту, полковник всё же умел ещё собрать внимание, как солнечный свет в линзу. Он вчитывался в высказывания «анонимного мыслителя».

«...Главные враги России – на самом верху. Они не берут взятки – они топят наши космические станции в океане. Они не задерживают выдачу лицензий на открытие "малого и среднего бизнеса" – они продают нашему потенциальному противнику стратегические запасы оружейного плутония. Они проводят реформы, ведущие страну и народ к гибели...»

«Всё это я где-то читал...» – Вельсапаров зевнул и смущённо оглянулся по сторонам.

«...Никаких надежд на это государство я не возлагаю. Но я обязан драться. Благо у меня ни жены, ни детей...»

Это Вельсапаров берёт на карандаш. Он пишет: «Вдов? Холост? Детей не было? Погибли?» И читает ниже:

«...Я за строительство людьми Райской Империи на земле. Я против строительства ада, где уродуют ангелов. Детей я считаю ангелами. И не по возрастной планке, а по той небесной данности, присущей от рождения Божьим детям. Я не считаю, что время, подаренное мне от рождения до смерти, нужно тратить на потакание своим низменным инстинктам – это некрасиво. Я идеалист ещё и потому, что верю в силу и свет человеческого разума – это красиво. И единственно верным устремлением людей разумных я считаю их устремление к самоорганизации в государство, способное защитить красивое в душе человека, но никак не наоборот...»

«...Поискать по дурдомам...» – пишет Вельсапаров и думает, что одиночку может защитить только счастливый случай. Такой случай – он как одноразовый шприц. Одиночка не в состоянии защищать себя сам постоянно. «...Поискать среди наших отставников.... Не зри внешняя моя, но воззри внутренняя моя...»²⁸.

Он поправляет колпак настольной лампы и со вниманием читает далее:

«...Вся история Европы – ложь, лукавство, войны, грабёж и геноцид с двойным аршином. Германия полностью ассимилировала западных славян в течение почти тысячи лет, лишила своей идентичности поляков, чехов и словенцев. О жертвах гитлеровского расизма умалчиваю как об очевидном факте истории. Англия несколько веков потрошила Индию и Африку, вывезя из них огромные богатства, уничтожив огромное количество мирного населения, исказив самобытное развитие сотен разных народов. Испания и Португалия осуществили зверский геноцид народов Южной Америки, вывезя из неё огромное количество золота. США уничтожили индейцев, оставили кровавый след во Вьетнаме, Корее, Ираке, Панаме, а теперь намыливаются...»

«...Намыливаются?.. – занёс в память Вельсапаров. – Ненормативное выражение...»

«...и на остальные страны. Русские же колонизаторы вкладывали в развитие присоединённых народов собственные деньги, жизнь и здоровье...»

«Верно. И что?» А вот что:

«...Единственной государственной формой выживания, существования и развития русского народа является империя. Исторический имперский опыт показывает, что народы и государства тяготеют к тому или иному центру силы, а т.н. "независимых" или "неприсоединившихся" стран просто не бывает, отличаются только виды вхождения и нахождения в составе имперских геополитических структур».

Полковник Вельсапаров не возражал.

«Удовлетворительно... – подумал он об анонимном мыслителе, как профессор о студенте. – Это верно... Но временно спасает не империя, а интеримпериализм. Похоже, мидовцев вполне устраивает, если интеримпериалисты-амеры скоро устроят парад на Красной площади. А мы им милости просим, ступайте! Как некрасовский Влас, который роздал своё имение и собирать на построение храма Божьего пошёл...»

Полковник продолжил чтение.

«...Сверхзадача идеалистов – построение Российской Империи Всеобщей Справедливости – РИВС. Русское государство должно строиться как многонациональная империя с абсолютистским принципом единоначалия первого должностного лица. Такое лицо отвечает своим именем в истории и будущем своих потомков за развитие государства. Модель государственного устройства на принципе разделения и независимости властей подлежит демонтажу, все ветви власти должны работать согласованно на выбранную генеральную политическую линию...»

«Где же она?» – записывает для себя Вельсапаров.

«Мы решительно отказываемся от коммунистической фразеологии, чего не сумел сделать классический сталинизм, и оперируем имперской риторикой...»

«...Нео сталинист?..» – делает он пометку.

«...Марксизм как средство для достижения цели не годится по целому ряду причин. Здесь и кадры, которые решают всё, здесь и порочность людей у власти, но главная причина – это бездуховность учения Маркса, отсутствие над идеей Покрова Господа Бога. Государства, в которых квартируют современные люди, опасны для их жизни. Пора уже не удивляться тому, что родители со чада послушным скопом идут к

расстрельной яме...»

«...Со чада! Посмотреть среди православных прихожан... Проверить священников и мелких клириков...» – мелкой прописью пишет полковник.

«...Сегодня наш оборонительный рубеж здесь. Наша очередная задача – провалить выборы мэра Шулепова на третий срок. Три срока пусть отбывает на Крайнем Севере. У нас, в Китаевске, двести тысяч граждан электорального возраста...»

«Ага! В Китаевске...» – выбирает он леску.

«...Их называют "целыми группами населения", а "поллстеры" оценивают степень сопротивления тому, что появляется в разных "Новостях". Мы расскажем китаевцам, как была запущена в ход эта лживая практика и кто несёт за неё ответственность. Лишь две тысячи из двухсот живут не голодая. Наша первоочередная задача – помочь остальным ста девяноста восьми тысячам провалить кандидата в губернаторы от левацких бесов, именующих себя правыми. Шулепов – мошенник, убийца, забулдыга, невежа и рвань. Сынишка его Прохор – растлитель малолетних...»

«...Личный враг мэра? Эмоции – с пересолом. Посмотреть судебные иски к Шулепову...» – словно бодрым утренним ветерком уже освежило Вельсапарова. Так возвращается сыскной азарт. Так мастер выходит на ковёр против юниора, чтобы размяться.

«Что ещё скажем, романтики, влюбленные?» – уже как к знакомцу обратился он к ещё неведомой жертве. Жертва пискнула и бесстрашно продолжала:

«...Почтовые ящики, троллейбусы, заборы, газеты забиты такой откровенной чушью, что многих китаевских избирателей уже воротит от одной мысли о демократических выборах. У нас радио на каждой кухне. Мы же будем сеять, потом пожинать нужные слухи.

...Бить врага его же оружием... Олигархическое господство в России заканчивается...»

«...Широкий лексический диапазон... – пишет полковник Вельсапаров. – ... Анониму иногда становится скучно писать шершавым языком плаката. Переходит на суржик. Литератор? Журналист? Платный штатный сепаратист?»

«...самоизоляция, автаркия. Но не возникнет ли у населения чувство отшельничества, загнанности в карцер, как при Советах? У большинства – отнюдь. Во-первых, хлебнули и нынче знают, с чем едят либеральную свободу. Во-вторых, свобода – это ситуация, когда ты зависишь от самого себя и только в малой мере – от внешних обстоятельств. То есть понятие свободы совпадает с понятием автаркии...»

Стремительно вошел Эрастов. Он выставил на стол бутылку лимонного цвета водки, маринованный алтайский папоротник-орляк, выкатил из охапки упругие, как теннисные мячи, лимоны, швырнул пачку сигарет, как новую колоду игральных карт. Вельсапаров взглянул раскосо, сквозь – он ещё работал. Генерал кивнул на тексты и сказал, усаживаясь напротив за стол:

– Прекраснодушные мечтатели. Хорошие ребята. Живут в мире, не имеющем ничего общего с реальностью...

Он достал из столового ящичка штык-нож, разделочную доску и продолжил:

– Говоруны, не вы... Им бы лишь бы посудачить, они все куда-то строятся. Так что ты скажешь об этих бреднях?

– Недурно. Но нынче этих программ – воз и маленькие нарты, как говорят алеуты.

– Это – грамотный идеалист... – понюхал из горлышка, а уж потом разлил водку

потомственный чекист генерал Эрастов. – В идеалистических категориях рассуждать логично крайне затруднительно. Эмоции! В этих же записках ничего нового как будто и нет, но – нюансы!.. Но – страсть! Но – стройность! Душевное, чувственное наполнение! Доступность для понимания обывателя, опять же! Кто это может быть в нашем Китаевске? Хохол какой-нибудь?..

– Почему хохол? – рассмеялся Вельсапаров. – По-твоему, свободолюбивые хохлы все до одного пассионарные идеалисты? Идеализация – это, насколько мне известно, представление чего-то лучшим, чем оно есть в действительности, приукрашивание действительности. Кто он, этот валет? – Курбан посмотрел на бумаги. – У тебя есть невскрытая колода?

– Эх, дружан ты мой Курбан! Поразбежались настоящие-то комитетчики! Вот и расхлёбывай теперь, мил-друг Эрастов-генерал! – ушёл он от прямого ответа. – Девушка в сауне спрашивает у голого генерал-майора: «Сколько у тебя звёзд на погонах, когда ты одет?» Тот: «Одна...» – говорит. «Ну-у! Это мало!» – говорит она. И бросается на плечи с тремя лейтенантскими звёздами. По сути вопроса – логическая ошибка налицо... А по-своему, по-бабьи, может, она и права...

– Ты это в связи с чем?

– В связи со связями, – Эрастов поднял гранёный полустакан. – Давай, Курбан, выпьем за нашу встречу... За то, что мы живы, что вместе... За то, чтоб силы не покинули нас в этой войне...

– Прозит! – возгласил Вельсапаров, выпил и закусил диковинным папоротником.

Эрастов не закусывал – он ел как холостяк: он жевал, глотал, давился и пускал слезу.

– Посмотри сюда, на фото... – управившись с салфеткой, Курбан кивнул на свой письменный стол. – Не узнаешь?

По старинке – под стеклом на столе – фото молодавого мужчины средних лет. Как боа, шею его обвивает пятнистый шарф. В уголке рта прикушен пустой курительный мундштук. Левый глаз с прищуром, наподобие птоза, от мнимого табачного дыма. Он похож на какого-то артиста старого кино. И, видимо, знает об этом сходстве.

– Да, радиожурналист Шалоумов, ведущий радио-шоу «Китай за углом». Это псевдоним. Настоящее его имя – Константин Евдокимов. Он – классный журналист. Работал в окружной газете Сибирского военного округа. Потом в «Звезде». Возможно, ты помнишь его по Кандагару. Мы все встречались на широте Иерусалима и северной Африки, Курбан.

– Нет. Я его не помню. Но шоу по радио слушаю. Вот о будущей партии нищих накануне слушал.

– И как?

– Я счёл идею здоровой. Действительно, сделать массовую партию в России можно. И партия нищих, Пал Палыч, ориентирована не на инерционную идеологию, а на динамичную идею. Надо учитывать, что настоящие левые, настоящие правые, настоящие либералы, настоящие националисты вытеснены как раз туда, к маргиналам.

– Вот-вот! Именно так. Набирается критическая масса. И нюх у этого Медынцева – позавидовать можно. Но, согласись, что было ощущение, будто... э-э... Шалоумов разговаривает сам с собой?

– Да, Пал Палыч, ощущение театральности, постановочности было. Но ведь и собеседником его был известный актёр. Возникает нечто вроде индукции. Будем считать, что всё выдержано в стиле шоу!

– Но вернёмся к Афгану, Курбан. Ведь я почитывал его опусы уже тогда, в Афгане. И тогда же он навёл меня на мысль, что проникновенные бредни журналистов представляют собой бесценный клад для любой иностранной разведки. Исключая, разумеется, дезу.

– Эти записки – такая болтовня, – сказал Курбан. – Всё это можно прочесть на заборах из окна любого поезда дальнего следования. Садись, поезжай и читай. Написано конкретно и вполне по-русски. Я уж не говорю об Интернете, и прочая, и прочая...

– Да! Но почему-то они, вот эти вот записки, оказались у грека Хары, а на него было совершено покушение! Похож этот спекулянт на неосталиниста? Нет. Но его стукнули кирпичом по организму так, что пришлось делать трепанацию черепа. Добрые доктора не могут сказать того, куда он теперь годится. Говорить пока не может. Так не продвинуться ли нам ближе к третьему

тосту в связи с этим, Курбан? Наливай, брат. Ты здесь хозяин.

– Почему ты думаешь, что это покушение? Пойди по моргам, посмотри по мордам – что, на них на всех покушались? Ну да, дали по черепу, «сунули перо под ребро»... – справедливо сомневался Курбан. – Рылом не показался, слово не так молвил – получи...

– Тогда скажи мне: что заставило Ивана Георгиевича Хару, во вскрытом кейсе которого и оказались эти бумаги, среди ночи выйти из машины у мусорных контейнеров? Мне известно, что героическим поведением он не отличался. Об этом говорит и тот факт, что штаны его оказались полны, и запах от него исходил сильнее, чем от помойки. Там же и в ту же ночь лежал начинённый дробью номер три мусор Слава Рыбин. А третьим в нечистой компании оказался вор Чимба. Что, скажи, свело этих типов на ночной помойке?

Курбан слушал.

«Вся страна нынче – ночная помойка...»

Он понимал, что после череды терактов, а иначе говоря – диверсий, спецслужбы зазнобило. В каждом милицейском управлении, в каждой службе ФСБ работают комиссии администрации президента с доступом ко всем документам, агентурным делам и делам оперативной проверки. Спецслужбы в ответ изображают боевые, полные опасностей и полуночных бдений будни. Вот и Палач взялся за Анонимного Мыслителя. При этом делает вид, что нуждается в аналитике.

Эрастов грыз кончик галстука и откровенно вычитывал мысли в глазах коллеги. Лицо его при этом выражало жалостное сочувствие.

Это была ночь за полторы недели до начала мэрских выборов в Китаевске.

Ещё одна ночь от начала времён пересчитывала звёзды над степью. Звёзд прибывало. Врата Небес бесшумно раскрывались и пропускали на Страшный суд сотни отлетающих душ, которыми убывала страна великанов. Какая же может быть всем нам мера наказания за теплохладность? Надругательство над Россией – безмерно. И, наверное, наказание уже пришло.

28

– Умер, что ли?

– Нет-нет! – говорила Наташа. – Не умер он, а пришёл в сознание и дышит на ладан в кислородную подушку. Ой, я боюсь ужасно! Пионеркой была – так греков не боялась! А тут прямо – ой! Нет, не «ой»: бр-р-р! Ты, Петя, мой депресс-компресс! Пошли со мной, Петюньчик! Пошли, родной, а? Он, мой Ваня-то-капиталист, меня зовёт, зовёт. Жа-а-алобно: «Ау-у-у!» Ну не могу же я дедку – отказать! Это же, Петюньчик, негуманно, согласись! Он ведь крещёный, он ведь православный! Да, он эллин, а может быть, он иудей, но сказано...

– Остановитесь, девушка. Вы вот с Юркой ёрничаете, а у меня Алёшка пропал.

– Да, да, ты мой петушок в самом хорошем, изначальном смысле! Если бы только знал, Петя...

– Помолчи. У меня нет сил на аферы, – прервал я говорунью.

– Боюсь! Мне кажется, он весь синий!

– Это я уже синий.

– Нет, ты белый, Петя. Клоун.

– Белый клоун, говоришь? Мне, красавица, за двое суток побега в родной Горнаул надоели ваши с вашим бывшим мужем аферы! Зачем я вам, некрасивый и белый? Всё! Я убегаю в степь!

– Да? Вот прямо так вот, доктор? Ай да ну! Ай да филолог ты наш! И на кого ж вы меня спокинули: и Грека, и ты, и Царь Бомбил²⁹ Всея Вселенной – бывший властелин меня *одной*? Думаете, баба с возу – очередь за кобылой! Нет, я, конечно, понимаю: ты сохнешь по своей Анютке! Грека тает в антоновом огне, как Снегурочка! Царь аккатоне – так тот просто жулик! А я? Кто мне поможет? Где ваше чувство долга? Господи! И это русская интеллигенция! О, три

29 Бомбила (*жарг.*) – профессиональный нищий.

Ивана – Грозный, Бунин и Шмелёв! О! Таким ли, господа, вы видели в своих грёзах...

– Наташка, перестань, а? Ну кто, скажи, на тебе, на такой... на неугомонной, женится? Всё. Устал... – сказал я и положил трубку.

Но трубка тут же ожила, подобно греку Харе. С ума сойти, что ли?

– Я одинока, – сказала она. – Разве вы не понимаете, что я – одинока?

– Так бы сразу и сказала... – сломался я. – Мы же не бессердечные...

– Приезжайте ко мне в бункер, Ю! Ну-у-у! Мой китайчонок! Ну-у-у! Але-оп!

«Первая – колом, вторая – соколом. Будет ли третья?»

– Какое я вам ю! Кто вам нужен? Юрий?

– Ой, вы артист! Ха-ха-ха! Ну вы артист! Ха-ха-ха! Это же надо такое исполнить! Ну перестаньте, ради Бога, Ю, мой китайчонок! Берите же такси, берите шампанское, приезжайте и берите меня, наконец!

– Я – не Ю! – только и нашёл сказать я, выдернул телефонный шнур из розетки и пошёл на кухню с намерением выпить залпом стакан лимонной водки.

За окнами падал влажный, нежный снег. Es Schnee – на двоюродном языке нашего президента. «Шне-э-э...» Так сказал бы шепелявый русский: «Шне-е-ег...» И я выпью за шепелявого русского непрезидента дядю Сашу Шуйцына, которому не на что вставить зубы. Я налил до краёв тонкий стакан, я выпил бы, но зазывно пропел позывные «русский с китайцем братья навек» сотовый. Я забил бы на это братство, если бы не ждал Алёшиного звонка.

– Наталья на проводе. Поехали, а, керя? Туда – и сразу обратно. Я отвезу тебя на пролётке, – смиренно заговорила она. – Имеющий уши да слышит меня, пропащую.

– Да ладно, Наталья. Заезжай, керя, по холодку. Лёд растаял.

– Милый! – чирикнула она. – Я внукам своим буду рассказывать, какой ты великодушный и благородный! Лечу! Volare!

Рука моя пошла к лимонной водке, но я остановил её, как факир танцующую кобру. Тяжело перекрестился тою же рукою, упал на колени и через разумное усилие воли, спеша стал творить молитву.

– Господи! Дай мне с душевным...

«...с душевым, с душевым... в душевой...» – хихикал во мне лукавый.

– ...с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день. Дай мне всецело...

«...и повсеместно, и паки, и паки... како... тако» – бубнил лукашка.

– ...дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всём наставь и поддержи меня...

«рога, рога... рога... наставь...»

– ...Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твёрдым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне, Господи, забыть, что всё ниспослано Тобой...»

«...ой-ой-ой!..»

– Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей...

«...кто – твоя? где семья! ты да я... я... я...»

– ...семьи, никого не смущая и не огорчая, Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи волею и научи меня каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех. Аминь.

Раздвоенность исчезла из неустроенной души. Я сразу же – в крепость:

– Отрицаюсь тебе, сатана, гордыни твоей и служения тебе и сочетаюсь Тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

И – на засов, на заплот.

Только сейчас я услышал долгие очереди дверного звонка. Я потрогал небритый подбородок и летящим шагом кинулся отпираться.

– Иду-у-у, Ната-аха-а-а!

«...В дверях стояли Анна и запах вечного снега. Она близоруко, внимательно, пристально смотрела на меня сквозь затуманенные очки, моя Анна. Минус девять справа, минус восемь – слева. Она надела их, она боялась, что это, может быть, не я, а кто-то чужой. Она надела для выезда в город свою лучшую одежду, но забыла про линзы.

– Ох, ты! Анна!

«Уж не сослепу ли ты венчалась со мной, занудой?»

– В Кронштадтском Сне стреляли... – начала она с порога. Но тут же кинулась ко мне, руками, как хмелем, обвила мою шею.

– Пётр! – и это её «Пётр» звучало совсем иначе, нежели Наташино «Петюнчик». Наташа – ведьма, Анна – веденица. – Зачем ты ищешь смерти, зачем? – шепнула она.

– Жизни, Нюра! Я жизни ищу! – смеясь, шепнул я, обнял её бережно и ногою толкнул дверь...»

...Всё это мне привиделось.

В дверях стояли Наталья и запах духов, названия которых я не знал, да и знать не хотел.

«Зачем мне это всё? Бежать...» – в который уже раз решил я и поглядел в её глаза. Они смеялись, они прятали смущение.

– Здравствуй, Петя. Я хочу тебе сказать, что ведь одно время... Помоги снять пальто! Одно время Шалоумов жил у меня...

Я помогал ей снять пальто, но она бестолково рвала с шеи шарф, будто решила на отчаянный поступок.

– Здорово! Без прописки жил, да? Как домовой, да? Знакомо.

Она протиснулась мимо меня в прихожую, которая когда-то была частицей этого её дома.

– Не прописки, а записки! Какие-то его записки оставались. Похоже, я по ошибке отдала их Греке вместе с остальной канцелярией. Где они теперь? Кейс-то его пропал – обыскалась! В гостиничном номере его нет, в больнице – тоже...

– Не ищи, – вежливо посоветовал я. – Успокойся. И записки эти тебя найдут, и тебя найдут.

– А Шалоумов как же?

– Соврёшь что-нибудь, Натаха...

– Кому?

– Всем. Вот скажи-ка мне, Натаха, как бывалый человек: что нужно делать, когда пропадают дети? Заявлять куда-то?

– Согрей меня! Стаканчиком чайку! И я скажу тебе всё! Всё. Эй! Ты где?

– Уймись, Наташа. Ты распространяешь вокруг себя бытовой цинизм.

– Нет. Я сею вокруг себя милосердие. Греке нужна кровь, – она постучала пальцем по своему локтевому сгибу. – Четвёртая группа. А у тебя в жилах, Пит, она самая и есть! Так отдай излишки эллину Ванюшке Греке.

– Ага, спешу, как эмчезс! Похоже, мало твой экс-хахаль русской крови выпил? Подсыпь ему педигрипала в миску или налей собачьей растишки! Совсем тявкать-то перестал? Жаль псину, жаль кобеля...

– Жалко, выходит. Трепанацию черепа сделали. Поправили там что-то в компьютере... Может, я за него замуж собиралась! Может, он мне никакой ни экс!

Я нервически засмеялся, вообразив, что при вскрытии черепа Греки в нём обнаружили доллары. Доллары взяли, а крышку черепа задвинули на место. Вот так прибывает нищих в Юркиных рядах. И этот мой смех длился бы до полного изнеможения, если бы мне снова вдруг не вспомнилась Анна с золотистыми по пояс волосами. Она покрывает стол праздничной тяжёлой скатертью, тяжёлые кисти которой свисают до пола. Она молится за меня перед великодушными иконами.

«Мама! Дай мне ещё что-нибудь святое!» – просит Ваня.

Вырастет внук солдата, правнук солдата Иван Шацких, и его заберут на войну под свинцовые пломбы проливать кровь за толстую мошну Ивана Греки, внука купца и сына купца. Что я могу сделать против этого? И вдруг понимаю ясно: нынешняя война – не прежние войны. В ней победителем может быть лишь Сам Бог и те, кто исповедует Его. Бог уже всё победил. Он

попускает теперь злу раскрыться до конца с тем, чтобы испытать верных и явить в полноте Свою Пасхальную силу.

С этой мыслью я покопался в себе – и стало не так невыносимо одиноко.

Ни за фунт муки я отдал Греке шестьсот граммов своей благородной крови. Люди в зелёных масках, за которыми скрывали клятву Гиппократ, хотели выдать мне за этот глупый жест триста рублей денег. Я нескромно попросил взамен голик да веник, а их-то в ведьмачьей лаборатории не нашлось.

Пришлось возвращаться домой на такси, и я увидел обезумевший предвыборный город при свете тусклого дня.

29

Горнаул почти тридцать лет был моим главным городом жизни. Но обиды на близких пережить труднее, чем на посторонних. Это им, близким, ты обязан всю жизнь доказывать, что ты не гадкий утёнок, а вполне приличная птица-лебедь. Ты из шкуры выпрыгиваешь, стараясь сделать это, но в лучшем случае они говорят:

– Ничего себе! Хорош гусь!

И не дай Бог тратить душевные силы на то, чтобы опровергать изречение: никто не пророк в своём Отечестве.

В Комитете госбезопасности менялись кадры, уходили на повышение. Новые кадры искали «проверенных врагов Отечества», чтобы «принять к ним профилактические меры», понизить, унижить и тоже уйти на повышение в свою очередь. А как ещё в мирной жизни звёздочку на погон получить? Хоть оборонительная гражданская война, да нужна. Отчего не повоевать безоружных? Гаси их да в толстые своды законов носом тычь. По своду законов его, вражонка, носом повозили и – под своды старинных тюремных замков типа тобольской тюрьмы с гнутыми карцерами. Весело жить ребятам с красными корочками. Я уже преподавал в институте, но даже комнаты в общежитии мне не давали, хотя в этот самый Крайком приходили письма из Союза писателей СССР за подписью самого Г. Маркова с просьбами устроить крышу над головой талантливому – да! не ниже! – молодому писателю Петру Николаевичу Шацких.

Я даже шутку тогда придумал:

«Иду обочиной, крайком. Вхожу, обидчивый, в крайком. Мне говорят: "Да вы об ком? Вам надо ниже, вам в райком". И необычным пареньком иду, набыченный, в райком. Мне говорят: "Да вы об чём? Не стыдно, керя, быть бичом!" Но быть бичом – и бить бичом, как стать жмуром и пить с врачом».

Они всегда презирали тех, кто от них зависит. Благородный человек переживает за вверенные ему в управление живые души. А хам во власти – презирает. Они, эти души, для него – мёртвые. А выручали меня стройотряды да шабашки. Лето злишься – зиму веселишься. Мы с поэтом Стасом Ревенко, на чьём доме теперь мемориальная доска, сплавлились по горным речкам на плоту, ходили по горам в поисках мумиё, добывали мускусное вещество кабарги. Сколько гитар утопили! За эти деньги нынче можно на острова Фиджи пешком сходить. Друзья с телевиденья всегда давали мне возможность заработать. Я писал песни для документального кино и телепередач. Летом ездил на «шабашки». И обидно стало мне, писателю и преподавателю, зимой в студенческих общагах предаваться разврату. Ведь и с первой своей женой, Надеждой Юрьевной, урождённой Тюленевой, мы жили в студенческом общежитии. Мои песни уже пелись по всей стране, а не только пятью хорошими ребятами с чуть охрипшими голосами. Им-то в сладость костры по лесам разводить и мужественными ножами вскрывать банки с женственной говяжьей тушёнкой. А я туризм по жизни невзлюбил. Как завалят песняры ко мне в общежитие бродячим цирком – и ну зверски петь да по-простонародному плясать! Может, оттого несчастная Надежда Юрьевна, очень милая и привлекательная, и привлекла кого-то чуждадельного, а потом и детей с ним народила.

Отсюда, из Горнаула, мы с Юрой уезжали в Москву, где выходила тогда моя первая книга прозы.

Было начало августа. Я ждал вызова из редакции. Живу себе в том общежитии. Живу временно, как положено. Тут-то в один из дней убийские мои друзья – Игорь Гендын с Сергеем Габышевым – и привезли ко мне обещанного «одного человека».

– Посмотри... – говорят, – кого мы, убийцы, тебе привезли: талантливого артиста! Не дают ему, большому кораблю, большого плавания! Фарватер топляком забит! А тебя в Москве знают – вот, керя, и помогай своим! Ты же наш друг-надежда! – И ставят на стол четверть с домашним вином.

Вижу – а это керя Юра Медынцев за ними: молодой, белокурый, как прежде, с незамысловато затеянным лицом. Тонкий, стройный, рукопожатие крепкое, глаза голубые, как лён, а в глазах-то – ого-го-го! – такие бесенятки приплясывают, что тебе вдруг становится весело от этого их перепляса.

– Это ты, что ли, Петюхан? Сколько лет, керя? – спрашивает. – Сколько зим?

– Да уж лет восемь как, – отвечаю. – Ты где, керя, был-то? Как из китайцев в убийцы попал?

– Учился на артиста, – смеётся Юра. – На одни пятёрки. Охота, думаешь, тут с вами, с троечниками, баклуши бить? Для того нас отцы с матерями мочёной верёвкой пороли да нежными коленками на горох ставили? Для того мы махорку из китайской «фанзы» до позеленения детских ангельских лиц курили?

– Не для того, – согласился я. – Тут что-то не так, керя! Где-то нас кто-то нас, керя, обскакал на вороных!

– На вороных-то – терпимо! На драных козах уже вон... вон... они... скачут!

Убийцы жалостно кивали головами в сторону единственного моего казённого окна. Они были хорошие драчливые ребята, в игру включались как с ходу в бой. Выпили вино. Постановили брать Москву.

– Москва – за углом! – согласились наши друзья-убийцы. Хорошо, сердечно плакали, прощаясь с нами, как навеки.

– Чего плачете?

А еврей Гарик Гендын объясняет:

– Русская водка – она чем хороша, мила и проникновенна? Выпьешь – и поплачешь. Водка понимает за небольшие деньги! Всю жизнь можно пить здесь, смеяться и плакать. Отчего ты думаешь у алконавтов глаза красные? От горькой. А знаешь, писатель, отчего коллега Горький тюбетейку носил? Нет? Так знай: это была не тюбетейка, а кипа!

Сейчас он сам носит кипу и работает таксистом в Калифорнии. Любит прерии и пампасы – потому что забыть нашу степь не в его силах. А, может, леса боится.

Я ещё расскажу об этом.

Нынче город очужел. Агитки залили его, как парша, как репы шкуру шелудивого безъязыкого пса. Как турецкая косметика, как ланиты старой вокзальной шкылды. Город мигал поворотными огнями дорогих авто, как азиатский растлитель детей мигает красными глазами. По городу ещё бегали пиармаларши с агитштукатурами. Казалось, дай им небо – они шустро, ловко залепят его несмываемыми, как позор, листовками. Бумажные лохмотья, заплатки плакатов, вся ветошь этой макулатуры шевелила культами на ветру. Она была совсем непохожа на те деньги, что на неё потрачены и которые уже пятый месяц не выплачивают горнякам в Китаевском карьере. Она привычно вопияла о ледяной нищете, но вопль этот глушили кощунственные улыбки кандидатов в устроители народного блага. Они считают нас слабоумными.

– Остановитесь, молодой человек, – попросил я водителя, вышел на тротуар и взял из рук молодого прошельги порцию агитстряпни.

– За кого будем голосовать, батя? – с развязной, жёсткой доброжелательностью религиозного сектанта поинтересовался он. – За Шулепова или за Аристарха?

– Ещё слово, пёс, – и зарезу! – объявил я вместо «благодарствуйте». Он, не стесняясь прохожих, довольно громко пустил ветра, но уходить постарался пружинистой походкой. В машине я стал читать:

«Патриоты Шалтая», тираж 300000 экз., дата выпуска...

План олигархов очевиден:

– выжать Шалтай;

Р.: – Он давно уже выжат, чего жать-то? Одни народные слёзы!

– набить собственные карманы;

Р.: – А вы, господа хорошие, в свои карманы заглядывали? Они у вас не набиты?

– пустить с молотка ваше богатство;

Р.: – Наше богатство уже давно с молотка продано. Покажите, пожалуйста, где богатство моих земляков, селян? У нас ничего нет, в отличие от вас.

– сделать Шалтай отстойником для химических и ядерных отходов;

Р.: – А как насчёт сжигания двигателей твердотопливных ракет на полигоне в г. Убийске без ведома жителей края? А разрушенные склады с сельхозхимикатами в районах края?

– олигархам вы нужны лишь в одном качестве – как чернорабочие;

Р.: – У олигархов чернорабочие получают больше, чем чиновники администрации края! Возьмите данные официальной статистики по заработной плате в организациях края. Самая высокая заработная плата в представительствах и филиалах московских и других иногородних фирм или где хозяевами являются пресловутые московские, питерские, новосибирские «олигархи». Где логика, господа? Делайте выводы, земляки! Мы же не Иванушки-дураки, какими нас считает действующая власть и заезжие московские политехнологи, предлагая нам такой примитив».

– Нихт ферштеен! – сказал я вслух. – Кте у фас прафта-матка?

– Иностранец! – весело отозвался водитель. Ему было чуть за двадцать, жизнь ещё казалась ему бесконечно интересной, похожей на киноленту про какую-нибудь ушастую «бригаду». И в зеркальце он смотрел на меня с дерзким интересом. С панели же смотрела глазами святых мучеников и светилась благотворными цветами автомобильная икона. – Хочешь город посмотреть? Девчонок там... это... герлы... надо? Йес? Ощущений хочешь, чмо? Или ты политехнолог?

– Интерпол! – сказал я. И полез в нагрудный карман куртки.

– Верю, верю! – бойко заверил водитель. Он отнял одну руку от баранки, чтобы второй показать на огромный портрет Шулепова. – Арестуй его, шериф! Это серийный убийца!

Под портретом хорошо читалась подпись: *«Прочь, москвичи! Шалтай я разворую сам!»*

– Вот это – удачно! – радовался жизни мой чичероне, как футбольный болельщик при назначении пенальти в ворота врага. – Это сильный ход! Шулику давно надо было просто покаяться в грехах: люди у нас отходчивые, простили бы шкуру! А теперь всё, момент упущен! Тебе, как шерифу, сообщаю: его мёрская банда прикрывает торговлю человеческой кровью и органами! Дыма без огня у нас не бывает, не знаю, как у вас там, в Кентукки!

– Мы в детстве тоже звали эту собаку Шуликом. А он оказался шулером... – сказал я, закуривая «Беломор». На водителя это произвело сильное впечатление: он едва не выехал на встречу. Его замутнённый классовый борьбой взгляд посуровел.

– Кровопийца ещё тот, корефан ваш, дитя полей и друг колхозных пашен! – сказал он, будто скрипнул тормозами. Тоже закурил. – На нём вещей штук на двадцать баксов, а он нам – о справедливости. И всю эту лабуду – с пламенным взглядом, с огнём правды в глазу! Вон, смотрите! Куда наши простые дети пропадают? Не знаете? А их на запчасти пускают. Кровь разливают по канистрам – и на нужды пузанов! Вон, вон, смотрите! – он сбросил газ. – Уже месяц вот эта шняга ходит по городу, а результат – по полям...

Борт оранжево-солнечной, как мечта эскимоса, маршрутки, был похож на Доску Почёта.

– Что это: городская стенгазета? Семейный альбом завгара? – спросил я.

– Какие нынче завгары? Это – фотографии детей! Это чьи-то дети! Они пропали без вести, как на войне.

«Алёша! – снова ударило меня в контуженную голову. – Алёша!» – И, наверное, я произнёс это вслух, потому что водитель отозвался:

– Что?

– Жми на газ!

– То-то! – сказал он. – Этот номер не для слабонервных. Слабонервных – в туалет! – он оказался лютым сторонником Анпиратора, Царя нищих всея Вселенной Юрия Первого Медынцева. Он закатил страстный, почти актёрский монолог на всю недолгую дорогу до моего бункера.

– Слышали, что Медынцев по радио говорил? Вот за кем идти надо! Вот кто победит на губернаторских выборах! Он так и говорил: мол, кучка каких-то обезьян правит огромным, как слон, народом! – заговорил он так, что между словами – иголки не просунешь. – Как же! Имперский народ! Пока лохи чешут репу над глобусом Кавказа, какой-нибудь Аликхеров качает сибирскую нефть, а какой-нибудь Елбукидзе приватизирует ихний, лоховый, меланжевый комбинат. Но когда лох кончает протирать штаны и отрывает близорукую морду от контурной карты своего сопливого пятиклассника, то он начинает протирать глаза: ма-а-атушки, карау-у-ул! Где, мол, мои чемоданы?! Отдавайте взад! А тут в телевизоре появляется рыба голова какого-нибудь понимальщика и объясняет лоху, что ты, мол, дорогой, живёшь в колонии общего режима. А чемодан вернём, когда откинешься, – он в Стабфонде! Тебя зорко стерегут с нефтяных вышек. Тогда лох кричит: «Не верю!» – и опять склоняется над контурной картой России и снова начинает чесать репу! А там уже вошь батальонами окапывается, и эти батальоны жалобно просят огня!

Люди у нас в Сибири остроумные. По данным бюро Левады, из десяти – девять остроумцев. Конечно, Левада – не Левитан, но что-то левое в их фамилиях проскальзывает и роднит этих художников. Водитель, похоже, плотно вошёл в образ и стилистику Медынцева, как совсем недавно я, но мы уже подъехали к моему странноприимному дому.

– Я православный христианин, – сказал я вежливо. – Как Господь Бог рассудит, так и будет...

– А я кто, интересно? – он кивнул на икону. – Это что, по-твоему: портрет дедушки Мао – защитника угнетённых кулями с рисом китайских кули? Кем бы ни был человек, запомни, иностранец из Тамбова: имущему всегда прибавляется, а у неимущего отнимается. Драться надо, отнимать у имущих награбленное. Или ты не настоящий христианин, или ничего в своей вере не смыслишь...

– Да ты рули, керя, рули! – начал закипать я. Детство, проведённое в каменном карьере, никогда уже не даст мне сделаться лощёным джентльменом. Прочти я ещё пятнадцать томов умных Сартров с Фукуямиами, но карьер – мои мидасовы уши. – Ты, керя, знай своё дело. А по поводу христианства объясняю: любой христианин может всегда сказать, что он не вполне христианин. И это будет чистая правда. Полный христианин – это человек, верующий в Христа, без греха, без греховных помыслов и обладающий вселенской любовью к каждому человеку.

– Нет! – сказал он горячо. – Я таких богомол, как ты, не люблю... Богоискательством надо заниматься в свободное от работы время. А пока работа наша – освобождение от ига. Особенно, когда на работе работаешь не по специальности! Я вот МИФИ кончаю – и что?

– Кончай эти провокационные разговоры! – терпеливо говорил я. – Не на то тебя учили!

– Смиранные! Перед чем – смиренные-то? Вспомни патриарха Гермогена! Пупсики, мль... Вот-вот... Отдыхают они от суеты мирской. Один дядя мне рассказывал, как на войне фашиста голыми руками задушил. Представь, что он сказал бы вдруг: «Ну, чего ты, многоуважаемый Ганс, ко мне прилип? Не видишь, я устал с тобой в этой грязи кататься, перекур!»

– Помолчи, парень. Я не богомол. Но и не червонец, чтобы всем нравиться, – вспомнил я классика. – А ты под обстрелом бывал, олух ты Царя Небесного?! Вот и заткнись, как девушка толстой немецкой сарделькой!

Так могут посориться два русских человека. Когда я протягивал ему деньги, руки мои ещё тряслись.

– Они не от жадности трясутся. Это тремор после контузии, – сказал я с примирительной улыбкой. – Я пошёл. Прости меня, сынок...

– Иди, батя. Бог простит. И ты меня прости! – отозвался он со всей сердечностью.

Так могут поладить два русских человека. Мы ищем правду, которая никуда от нас не пряталась. Когда Бог зовёт к ней – никто не отвечает. Когда Он говорит – никто не слушает. Не можем мы любить эту правду так, чтобы прикосновение ко лжи стало для нас невыносимым, как прикосновение к падали, где бы мы с ней ни столкнулись. А есть ли она в нас-то самих, правда?

Впервые в жизни меня неудержимо повлекло на исповедь.

Лифт застрял между этажами. Когда я вошёл в квартиру с острым желанием посетить санузел, то обнаружил в ней большую разруху. Когда же оказалось, что в компьютере пропал жёсткий диск, то понял – был обыск. Интересно, кого они обыскивали: меня или Медынцева? Кто эти «они»? Положим, я не могу представлять никакого агентурного интереса для кого бы то ни было. И никакой опасной для режима информации на диске не могло быть. Но любой человек может серьёзно пострадать в результате недоразумений, которые лишь кажутся недоразумениями. Он может долго и тщетно оправдываться после произвольной трактовки спецслужбами его оперативных данных. Или из-за того, что некий файл содержит неправильные данные, с которыми он, обыватель, не согласен. Но без обращения за помощью к очень дорогим адвокатам изменить бедолага ничего не может. Казённым дядям нужен крючок, они его ищут. Не молдаванская же разведка из Кишинёва продолжает меня разыскивать за бои в Приднестровье. Кто знает? Клика сдаёт всех, кого попросят обиженные младшие братья. Говорят, замирённая Чечня требует у «питерских» выдать ей на суд какого-то русского сапера-контрактника. Они и выдадут. Не посмотрят, что сапер – профессия тихая и благородная: продадут ни за рубль двадцать. А может быть, прошедшая радиопередача расшевелила местных опричников? Или это охота на Коську? Или страху нагоняют?

Вот и поди узнай, где доведётся исповедаться, керя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ночи вёрона

1

По сути, я делался занудой и внутренне одиноким дядькой. Не окончательно, но уже опасно одиноким. Бывают, выходит, случаи сумасшествия и от счастливой любви.

Уже четвёртый день я живу в Китаевске. С болью сердечной вспоминаю лицо спящего сына. Сплю в обнимку с радиотелефоном, но Аня не звонит. Алёшка не возвращается. К его поискам я пристегнул всех своих значительных знакомцев. Сам стою как на посту и всё смотрю в окна.

Идёт пора сиреневой зимы. Гнетуще метёт сыпучие снега с юго-востока, со стороны Свято-Духова женского монастыря архиерейского подворья. Два с половиной века тому, как он был поставлен русскими поселенцами и казаками для защиты от набегов джунгарских каганов. Тогда деревянные церкви пришли на богатый Алтай вместе с преподобным Макарием. Гражданская война здесь закончилась позже, чем в России. Опытные уже богоборцы дружно накинудились на степные монастыри, миссионерские станы и часовни. А после войны с Германией в крае и вообще осталось три храма: Покровский собор в Горнауле, Успенский собор в Убийске и Михаило-Архангельский храм в Бубенцовске. Каганы были здесь. Они никуда не уходили. Но храмы снова росли и сходились, как пальцы в щепоть, которая сильнее кулака потому, что люди творят ею крестное знамение и ею же кладут малую копейку в кружку для пожертвований. Вот и моя Аня со ящичком для сбора пожертвований всё ездит, наверное, на лошадке по степным деревням.

...Однажды родитель водил меня в цирк на сцене. Мне долго снилась потом артистка неземной, по моим представлениям, красоты, блестящая, как змейка, в чёрной парче с чешуйчатыми блёстками. Через голову она ловко снимала с себя кольца огромного удава. Кольцо за кольцом падали к её ногам. Это зрелище слилось в моём сознании с образом моей Анны-храмостроительницы. Не я ли этот удав? Или отец Христодул, терзающий её послушаниями? Я ещё раз убедился, что ничего случайного в судьбе нет. Отстранившись от единственно уже родных, я понял, как мне мнилось, истинные причины своей внутренней смуты и ехидного письма к о. Христодулу: похоже, я спасовал перед стоящим делом. Не потянул. Зажил в слове, ушёл из живой жизни. Наверное, силы мои ушли в бумажные слова, и слова подменили дело. Что во мне безвозвратно крушилось? Что?

«Я красиво замощу дворик перед храмом. Как в Яровом...» – ворковала Анна, ясная и понятная.

«Замостит, блаженная...» – верил я. Но говорил отчего-то:

– Да. А потом ты возьмёшься за возведение сакрального центра русского мира. И там тоже дворик замостишь. Моими мощами...

Упрямство, раздражение, обида! На что? Ей было больно слышать это, но она знала обо мне что-то, чего не знал и, может быть, никогда не узнаю я сам. И терпеливо продолжала, прикрыв узкой розовой ладонью мой рот:

– Конечно, ты моряк красивый сам собою. Но – моряк. Ты видишь во мне только барышню.

– Наверное, барышня, – сказал я. – Такие уж, Нюра, у меня диоптрии. Я и не делаю из этого тайны. Но мне жаль тебя. Простуженную, с красивыми ногами, которые болят! Тобой попользуются, выжмут живые соки – и вышвырнут из того храма, который ты построишь. Ты взяла на себя непосильный труд...

– Тебе себя жаль, Петя. Радовался бы, что Бог дал тебе благочестивую жену.

– Слава Богу! Кто ж возразит? – соглашался я. – Да. Мне жаль и себя. Тоже. Муж и жена – плоть едина.

– «Благодарение блаженному Богу за то, что он сделал нужное – нетрудным, а трудное – ненужным».

Цитирует Григория Сковороду по памяти. А я уже говорил, что у неё на всё был ответ. Она жила по простым писанным законам. Овца – что ещё сказать. А сказать хочется. И однажды я

сказал ей жалище:

– Вот вычитал недавно, что некая Агнесса Бланбекер считалась святою в Вене во времена некоего Рудольфа Габсбургского. Однажды Христос явился к ней и приготовил на кухне рагу из молока и миндаля. Видение ей, болезной, было. Дальше – больше: ей явился совершенно голый монах, голый, как на призывной комиссии, и стал её перстом-то манить: кс-кс-кс! Но это, как она объясняла, означало золочение церкви...

– Ой, Петенька-а-а, хорошо, что ты мне напомнил! Надо искать миндаль для теста! Скоро Пасха, а у меня по сусекам, Петенька, – колобком покати! – но, видно, смутившись своим невниманием, она сделала заинтересованную мину. – Инесса Блокбастер? Интересно... Но чувственный натурализм чужд христианству. Ты мне ещё про богохульные откровения бесноватой Анжелы из Фолиньо расскажи...

После разговоров, подобных этому, супружеская страсть моя остывала.

«Вот такими были они, советские общественницы, – они из орлят... Всё летать учатся!» – подавленно думал я, когда она ненадолго забежала домой и шумно отфыркивала воду под уличным рукомойником, распевая при этом тропари так громко, что воробы от собачьей кормушки отрывались и волнительно подчирикивали».

«Она из орлят... Есть такие птички, – подумал я и даже записал себе в книжку, что делаю теперь нечасто: "Супружеская любовь – всего-то навсего домашняя певчая птичка. Серенькая пичужка, готовая петь в клетке. Птичка поёт и не замечает, что умирает. А ведь она просто звала пару. Ты уморила птичку одиночеством в чужом доме, без воды, без пшена ярого – мне жаль птаху"».

«А проще нельзя? – спросил я себя. И ответил: – А проще вороны каркают!» На том успокоился.

Сам её, Аню, такую выискивал, ища подобие правды во мраке, зная, что в человеческом сознании ежесекундно идёт раздор между порядком и хаосом. Хаос предпочтительней – там никто ни за что не отвечает. И впервые после сказок детства я встретил столь высоко парящую над обыденностью человеческую душу, поселившуюся в живой, красивой, огненной оболочке. Я искал её. Вот она, не родственная – родная моя Жар-птица, никакая не овца. Но не вмещается в мой формат. А ведь у меня нет людей ближе, чем они – Аня да Ваня. Сын наденет на плечи полотенце, как епитрахиль, возьмёт кропило и ходит по дому священником.

«Мамочка, – говорит, – дай мне ещё что-нибудь святое!»

А я, похоже, к этому не готов, потому что во многом, как оказалось, не верю своему счастью. Я ещё достаточно силен, чтобы не ревновать. Но ревность – она рождается и умирает вместе с человеком. Вот меня и спровоцировали, разбудили самые тёмные, дремучие инстинкты. Мутная обида, как деревенский соседусшко³⁰, давит меня и во сне. Но ведь обидеть можно только того человека, который ждёт, чтобы его обидели. А я переживаю мнимое, как псих. Вижу мир таким, каким его представляю, а не таким, каков он на самом деле. Искажённое эхо прошлых контузий здесь ни при чём. Аня права. Действительно, бесы атакуют меня, маловера, по всему фронту души. И мало мне молиться о прибавлении ума – о спасении души бы молиться и дни, и ночи. Вот и отец Глеб разглядел во мне печаль. Он выслушал мою исповедь как-то дорогой и сказал:

– Эх, ты, мой родный Петя! Ты, милочка, займись быстрее своей душой! Любовь – это ведь не «ты – для меня», а «я – для тебя»... Возьми, отличи-ка ты её от самолюбия? Отличишь – и воздастся! Увидишь: бывают и счастливые брачные союзы, Петя! Упражняйся в вере, пока не будешь непрестанно ходить в страхе Божьем перед Живым Богом, пока дарованная тебе за духовные труды любовь не затмит весь мир! И только Христос будет освящать твой путь, и говорить тебе, и благословлять тебя! А священник-то он – кто? Он тоже грешный человек, из глины сотворённый. И среди нас много лжепастырей, только совне облачённых в церковные ризы, наперсные кресты и драгоценные панагии, а изнутри растленных безверием. Но у каждого свой крест и свой ответ перед Господом, Петя. И давай, дитёнок, нести свой крест со смирением и

истинной верой...

Отец Глеб – это взор, сочетающий в себе тревогу и доброту, строгость и уважительность. Взор неизменно ясный. Легко смотреть в эти синие глаза, где нет дрожащей дымки полуденного миража, которую принимают за струение прохладной воды на горизонте. Можно идти к этой воде из последних сил, но никогда не утолить ею жажды. Выражение глаз этого седого ребёнка не живёт отдельно от его слов:

– Никакая мистика никому ничего не объяснит, родной мой дитёнок. Всё просто: кто может верить, тот верует. Другие, Петя, ищут объяснения. Ещё раз говорю я, недостойный: займись своей душой, ибо, неровен час, ею займётся лукашка!

– Эх, отец! Родной! Научи, а?

– «Говорите, "да – да" или "нет – нет", а все остальное от лукавого», – учил Христос.

Легко ли этак и чтоб – без грубостей? Вот кто сейчас позвонит? Позвонила беспамятная, тихая и благовоспитанная, ставосьмилетняя уже старушка Раиса Терентьевна Ромоданова, которую о. Глеб соборовал на Великопостной неделе прошлой весной. Я ему сослужил. Соборовалась она в полном сознании. Оклемалась. И увидела во мне какого-то своего родственника Серёжу времен Российской Империи. Она стала спрашивать:

– Серёженька, а Лёня умер? А Шура умерла? А Фрося умерла? – и так по всему Синодику.

Я красным, как мятежная гвоздика, маркером крупно записал на обёрточной бумаге номер своего телефона, скотчем прилепил к старушкиному холодильнику: «Звоните!» – говорю. Вот она интересуется, бедная, с тех пор.

– А Семён умер? А Нифантий умер?

Вначале-то я говорил с ней, как с человеком вменяемым, но – увы! – когда её любознательность стала меня доводить до дрожи в руках, я принял простое решение.

Уже с полгода я ей отвечаю, что все, слава Богу, живы и здоровы: Семён стал космонавтом и живёт теперь на Луне в трёхкомнатной квартире со всеми удобствами. Эра освоения космоса. Нифантий хворал. У него случилось воспаление лёгких, но с Божьей помощью оздоровел, и сейчас работает пионервожатым в Артеке. Фрося вышла замуж за лесника из Канады, собиралась к Раисе Терентьевне в гости, но у них случилось затмение Солнца. И самолёты перестали летать в заграницу.

– А кто, Серёженька, сейчас заграница: мы или они? – спрашивает милейшая Раиса Терентьевна. – Мы где, Серёженька, живём? Еду приносили – не сказали.

Еду ей носят внуки внуков – много ли ей надо? А квартира всем нужна, пусть с прозрачными, как границы, стенами.

– Семьдесят лет мы, Раиса Терентьевна, жили в стране под гнусным названием РСФСР.

– Семьдесят лет?! – удивляется она.

– Семьдесят лет с хвостиком. Теперь на нас ещё более гнусная татуировка; ЭсЭнГэ. Живём, как жулики во фраках, на европейском пляже – стыдно тельняшку снять. Границ, Раиса Терентьевна, нынче как таковых нет. Они прозрачны. Скорее, призрачны. А живём мы нынче в ЭсЭнГэ – стране без границ, Раиса Терентьевна.

– Это что, Серёжа? Мне других-то стыдно спросить, ангел вы мой...

– О-о! Это коло-о-ония, Раиса Терентьевна, боль-ша-а-ая зона.

– Неужели всех переселили?

– Да, да: в одну ночь Беловежской пуши. Солдаты, овчарки, чемодан – вокзал – ЭсЭнГэ. Вот так, Раиса Терентьевна. Вы спрашивайте, не стесняйтесь...

– Вы один со мной и разговариваете, Серёжа! Вы воспитанный юноша. Пажеский корпус – это... Господи Иисусе! Слава Тебе, Боже! А кто руководил эвакуацией, Серёжа? Не Стол... пов, ли? – Видно, лёгкий шок от удивительного переселения освежил её память. – Не Пётр ли Аркадьевич? Он ведь, кажется, умер?

– Нет-нет, Раиса Терентьевна. Не Столыпин. А он – он действительно умер, он погиб. А руководили выселением два сержанта и один рядовой необученный, причём беспалый!

– В-о-от как! А что, Государь-то Император разве умер?

– Наш Государь Император со всем семейством теперь в сонме святых. Они

великомученики. Все они стали жертвами ритуального убийства, Раиса Терентьевна. Но вы не отчаивайтесь, Фрося-то жива, Нифантий, стало быть, тоже жив...

– Не боятся люди Бога, Серёженька...

– Бог смиряется перед человеческим произволом, дорогая Раиса Терентьевна. Ну что может сказать Отец тем детям, которые просто не хотят Его знать?

– Да, Серёжа. Да, умница вы мой. А Лаврентий Павлович – умер?

– Берия, наверное?

– Да, да, Серёженька! Кажется, Берия! Красивый лезгин такой! В пенсне!

– Нет, он жив, Раиса Терентьевна. Работает в Киргизии чабаном. Врачи прописали ему высокогорный воздух... Астма у него, старик ведь уже! А курил-то всю жизнь сигареты «Памир»! Помните, сигареты «Памир» – мужик с палкой?

– М-м-м... А этот мужик с палкой – умер?

– Нет. Он теперь самый главный из всех мужиков – у него же палка! А ни у кого больше палки нет. Его зовут Джордж Буш. Он член ордена «Череп и кости».

– Какой ужас! Че-е-ереп...

– Это – фигурально выражаясь! – говорю я, чувствуя, что перегнул палку. – Не бойтесь, Раиса Терентьевна: нас надёжно охраняют Силы Небесные...

– Авиация?

– Почему авиация? Авиация умерла. Покров Матери Божией, Пресвятой Богородицы...

– Ах, да, да! А стихи, Серёжа! Прочтите мне свои стихи!

Она – моя самая терпеливая слушательница.

– Слушайте, – сразу же соглашаюсь я.

Неугасимо горит лампада в соборном храме!
Ах, рассказать бы про всё, как надо, умершей маме!
В соборном храме Ксиропотама поют монахи.
Поют монахи – ты слышишь, мама? – в священном страхе.

Паникадило и круглый хорос, орлы двуглавы...
Неугасимо горит лампада, горит, качаясь...
Когда-то было: младая поросль в зените славы
С утра – ко храму, твердя молитву, в пути встречаясь,

Никто не ведал, никто не видел – плескалось масло,
Оно плескалось, переливалось, не зная края.
И следом – беды, как те акриды, и солнце гасло,
И конь у прясла всё ждал хозяев, уздой играя.
Изогнут хорос, как знак вопроса, под гнётом мессы.
Младую поросль секут покосы – играют бесы.

О, как мы слепы, людское стадо! Но всяк ругает:
То – ясно солнце, то – сине море, вино ли, хлеб ли,
Кто ж наделяет огнём лампаду? Кто возжигает?
И снова масло краями льётся – но все ослепли...

Поют монахи... Поют монахи... Коль слеп, так слушай.
Запрись, дыханье, утишись, сердце, – Дух Свят здесь дышит.
Святые горы, святые хоры, святые души...
Не слышит разум. Не слышат сердце, ничто не слышит...

Горят усадьбы, как в пекле ада – ребёнок замер.
Гуляют свадьбы. Плюются в небо – ребёнок в двери.

Ах, рассказать бы про всё, как надо, умершей маме!
Да на Афоне я сроду не был – кто мне поверит?

Я был поэтом. Умру поэтом однажды в осень.
И напишу я про всё про это строк двадцать восемь.

– Ах, нет, нет... – плачет она и просит: – Нет. Вы не умирайте, Серёженька, мон ами! Не умирайте!

Я возьму и тоже заплачу тихонько – плохо ли поплакать лёгкими слезами да вместе с гранд-дамой из позапрошлого века? Но Раиса Терентьевна тут же:

– А Леночка – умерла?..

Такой я разбитной психотерапевт.

Кому-то содержание моих бесед с простодушной старушкой покажется издевательским. Это не так. Я говорю с ней, как с ребёнком, которому нужна сказка на сон грядущий. Иногда я скучаю без звонков этой счастливцы. Забыть всё – разве это не крупный фарт? И можно ли говорить с Раисой Терентьевной всерьёз? Мне только прикоснуться к этому огромному, вековому забытию, заглянуть в бездну и – отшатнуться, смеясь. Нам весело – и ей, и её Серёженьке, и мне, грешному. Все у нас живы – вот что главное. Премудрый Царь Соломон сказал: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, – и Бог воззовет прошедшее». Я, образованный незнайка, соглашаюсь с изречением, покуда на временном лице меня самого или на лицах моих близких не мелькнёт бледный лик смерти.

Тут – крах всем нажитым премудростям. Я забываю их, как Раиса Терентьевна забыла свою столетнюю войну. Потому что я ещё живой и ещё грешный человек. Потому что *свои* любимые мне дороже, чем *чужие*. Всех, кто думает иначе, объявляю сумасшедшими прежде, чем рассказывать далее.

2

Наташа не отходила от Греки, ночевала вместе с трубочками и краниками в его скорбных апартаментах – реанимация называется. Два дня не звонила мне – и вот звонит:

– Это ранимация, нянечка тётя Наташка Хмыз! Партийная кличка – Флюгер. Дохтура книжных наук Шацкого – можно?

– Как там дела, Натаха? Где ты там куришь-то?

– Курить, Петя, я бросила. А ты бери батюшку, бери кропила, кадила, тащи елея, смирны, иссопа – всё, что подобает.

– Ты его бальзамировать намерена?

– Типун тебе на твой русский язык! Ваня просит соборовать его. Сделайте дело, а уж умереть я ему не дам. Машину за вами с батюшкой пришлю – царскую. Говорю коротко: здесь больница, а не радиокомитет. Приём?

– У меня, Натаха, Алёша пропал. Сиж у окошка, жду. Домой не еду. Похоже, у меня и нет его, дома. Зачем ты меня беспокоишь? Говорю коротко: сказать больше нечего. Приём...

– Повторяю: приём здесь, в ранимации, ведётся круглые сутки. Приезжайте по возможности скорей. Конец связи.

– Эй! – только и успел сказать я, глядя на трубку так, словно вознамерился увидеть гудки отбоя. Почему бы, подумал я, ей, Наташе, и не позаботиться о своём земном существовании. Хлебнула девушка пересола – ищет прохладный оазис в нашей Пустыне Ивановне. Она в юные годы была сильной. Однажды в мае, после моего сольного концерта, несла меня на руках шагов двадцать. Наташиному бесстрашию уже тогда никто из её вечно мужского окружения не удивлялся: девчонкой ходила на кладбище ночами одна и носила оттуда сочные сибирские яблоки – ранетки. Некоторых из угощённых мужчин рвало, когда они узнавали о происхождении райских яблочек. А она – знай варит из них варенье, не жалеет кубинского сахара.

– У меня красивая мужская фамилия – Хмыз, – говорила она. – И вертлявая же мужская кличка – Флюгер!

Она жила красиво, щедро и насмешливо. Она – часть моей жизни. Её изуродовали, измяли, но не испоганили. Она никому не жалуется, ни на кого не надеется. И плывёт одна, выбиваясь из сил, а в зубах держит портновскую булавку на случай судороги. Вот сейчас в её зубах – драгоценная греческая булавка. Кто у неё ещё есть на свете, кроме меня да Юры? Я поспешил позвонить отцу Глебу, но подумал вдруг: почему умирающему буржую Греке потребовались именно мы с отцом Глебом? В городе полно известных дорогих священников.

Тут у двери позвонили. Рассыльная девушка с почты вручила мне заказное письмо из Калуги – настоящее, не электронное, не эсэмэску, а в конверте с маркой. Я обрадовался, как Ванька Жуков, что получил ответ от бабушки Константина Макарыча. Но недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал.

– Этот пакет не взорвётся? – спросил я девушку, расписываясь за получение дивного послания.

– Что? Нет, нет! – ответила она, заметно смутилась и зарделась ланитами.

– Можно, я вскрыю его при тебе, детка?

– Ради Бога... – она даже сделала вид, что обиделась на меня, и как-то вяло вильнула незримым хвостиком, потом переступила невидимыми, но жёсткими копытцами. Кто у неё бог – неизвестно. Только письмо не могло прийти из Калуги сейчас по той простой причине, что Петра – девушка-студентка с редким, как куриный бог, именем – навсегда уехала с русским мужем к себе на родину в Германию. Случилось это ещё в середине лета.

– За письмо спасибо! Иди, крошка, – сказал я девушке. – И не попадайся мне более на глаза. Изнасилую всяко. Хвост прищемлю дверьми. Копыта пушу на холодец.

– Где у вас руки помыть? – жалобно так спрашивает юная ведьма. – Где туалет?

– В уборной, – говорю. – На улице Серостана Царапина. За выход платить не надо...

– Как-то вы не по-джентльменски... – проямлила она и направилась восвояси. – А ещё иконы кругом...

– Пошла вон, стерва номерная! – грубо заключил я, входя в раж и будучи в ударе. Это тестостерон с адреналином делали своё дело. Хотя я и не знал толком, что такое номерная стерва и есть ли такое определение стерв, но то, что не такая уж она и стерва, – догадывался. Служба такая стервозная. Однако остался доволен собой, чего давненько не случалось.

А в ванную её не пустил – зачем нам тут «клопы» с «жуками». Не энтомологи, чай.

Я набирал номер Анпиратора и быстренько соображал: какими бы словами изложить ему свою тревогу и рассказать ему, неучу, что даже гнусные американские демократы в своём якобы Сенате – туда же: римляне! – борются с проектом тотального наблюдения, по ихнему ТИА. Как римляне стали итальянцами, так и они станут неграми, не плачь, брат-индеец! Как богатые станут нищими, а нищие – богатыми, как рак на горе просвистит соловьём-разбойником, так и мы с тобой, Юра, станем умными и осторожными. Зная то, что мы лишние люди на балансе кремлюков. Примерно это я и хотел ему сказать. А он третий день отвечает мне голосом английской мисс, что временно доступ к ней прекращен – гигиена. Стал я читать письмо от немки Петры из Калуги, куда я приезжал полтора года назад.

«Здравствуй, Пётр!

Это уже второе моё к тебе послание, и я не знаю, что получится на этот раз. Я, конечно же, получила твоё очень доброе и лестно-приятное для меня письмо и раскопала даже то, что было зарыто среди прикреплённых файлов. От всех твоих писем тепло и нежело на душе. Прости за многословие и болтовню, я знаю, что это читается трудно, но мне надо немного разогнаться – я ненавижу писать письма, не умею. А получать люблю, в чём, конечно же, неоригинальна. Дело в том, что все мы, то есть я, Берзин и Марта Зейбель, сразу после твоего отбытия написали тебе по письму. Некоторые даже стишки свои туда подобрали, чтобы ты повеселился. А потом ещё долго, как дураки, звонили друг другу и переспрашивали: "Ну что, у тебя получилось?" Потому что всем нам пришёл отлуп, дружный и невнятный, не по-русски, а мы люди отчаянно русские,

хоть и немцы. Мы так и не выяснили, чего от нас хотели, но поняли одно: компьютер твоего адреса не знает. Потом все навалилось на меня, ведь у меня единственной было письменное компьютерное подтверждение, что ты есть, что есть и адрес твой, и повелели мне отправить Ре-письмо. И опять нас постигло разочарование. А дальше звонил или появлялся мой Берзин с вопросом на пороге: "Ну, как там Петя?" или "От Пети – что?" Не я одна тебя люблю, хоть ты и старенький. А у меня в скором времени и компьютер накрылся, и надолго так, и вот только час назад я наконец, смогла влезть в Интернет и обнаружить там твоё новое письмо, тоже уже не новое, а аж от 7 марта! Кстати, Берзин ведь меня с детьми бросил. Как сейчас говорят, кинул. Квартиру нам оставил. Я не в обиде. Уеду во Франкфурт. Вообще, слышь, я только тебя любила, хоть я и распутная немка, а ты – благодетельный русак. Прости меня, Пётр, бестолочь я ужасная. Возвращаюсь к началу.

Так вот. Ещё до того, как накрылся компьютер, я узнала от Андрея Усова, что есть сайт студентов пединститута тех лет, когда мы там учились, а ты читал нам свои бесподобные лекции. Ах, Пётр Николаевич! Мы немцы – пылкие люди. Немки, во всяком случае. Залезла я и прочитала твой роман «Остров сокровен», и не захотелось оттуда вылезать! Не берусь давать ему оценку, я критикую ещё хуже, чем пишу, несмотря на твою высокую школу. Но как идиоту радостно узнавать знакомые буквы, так и мне радостно было узнавать знакомые и родные имена, как бы и что бы про них ни писалось.

Можно, я переведу твой ужасно весёлый роман на немецкий язык? Мне будет приятно. Германии – полезно. Живём-поживаем мы, дорогой Петя, обыденно, даже и рассказать нечего. Я подружилась с очень хорошим священником, он иногда заходит ко мне в гости в перерывах между службами, чтобы поспать, он очень худенький и слабенький, устаёт, а живёт далеко за городом, в деревне. Он молоденький, батюшка Илья, МИФИшник, и жена у него на сносях, первенца ждут. А когда батюшка отдохнёт, перед его уходом мы замечательно общаемся, говорим о Божественном. Я люблю сплетничать, а он всё время мне говорит: "Матушка, а вы не судите?" Я теперь и стараюсь не судить. Он говорит: "Часто, когда у нас просят совета, как поступить, мы не знаем, что сказать не то что людям, но и себе. А ведь надо только вспомнить: велит или не велит Господь делать так, а не иначе! Смотри, что делает Отец Твой, и делай то же!" Правильный такой малыш. Теперь мне хорошо спится, светло и радостно на душе. Я поняла: это оттого, что днём на моей постели спит почти ангел и собой всё освящает. Теперь я думаю: я такая влюбчивая, как бы мне в батюшку-то не влюбиться! Пусть тогда герр Берзин, этот горячий лапландец, знает, как немцев в Православие крестить. А немки – особенно. Вспомни судьбу последней – или не последней? – русской императрицы. А с другой стороны, меня раздражают черти. Так всегда, когда пост. Муж Наташки Бабкиной, страшный Лео Швец, грозный викинг, эсэмэски шлёт, смущает речами нескромными, на концерты в Москву зазывает, сам приехать грозит. Да ещё Сектант активизировался, Гарик внезапно бросил пить – все женихи. Это мы тоже проходили, это ещё одно искушение, свойство поста – нехорошие силы начинают обманывать и подманивать, хорошими прикидываться, вот и борись с ними, как можешь! Дети мои разбежались на каникулах кто куда: младший, Витя, концертирует с хором мальчиков-зайчиков, а старший, Дэн, едва ли не Сяопин, отправился с туристами в Геленджик, по горам лазить. А я с кошками и собаками дома сижу, их жду. Кстати, кошек снова две, и стало две очень быстро: вскоре после твоего отъезда потерянная Муся вернулась. А я грущу без твоего голоса. Это ничего, что я тебя люблю? Это не опасно. Как там Анечка? Не родился ли у вас ещё кто-нибудь, кроме Иванищи? Обнимаю тебя, Пётр. И Анечку тоже. И ребятёночка вашего. Никогда не забуду, как ты приехал ко мне после московского мятежа. Шёл снег. Был ноябрь, голодно, а от тебя пахло копчёной колбасой. "Это запах горящих костров", – сказал ты, мой любимый вояка. И ещё ты сказал: "Es schnee... Ich auch der Schnee..." Потом запел свой "Реквием". Как я буду жить без России, без всех вас, гонимых всем остальным миром? Может быть, я тоже напишу книгу. Назову её так: "Охлаждённые и замороженные. Русские истории". Вчера меня потряхнули тридцать пять лет по шкале Рихтера. Я уже молодая. Из Калуги – с любовью – Петра – Твоя – Тёзка.

Да, яйца всё-таки могут научить курицу относиться к ним иначе, чем ко всему прочему, что

падает из кур на зелёных лужайках. Прощай, Франкфурт-не-maine...

В который раз я поразился изящной женской силе, выпил триста граммов водки и захотел сладко восплакать. Мне восплакать, как иному чихнуть. Тут и принесло неохлаждённого и незамороженного, а, напротив, – очень разгорячённого Анпиратора.

– Чо это у тебя глаза красные: с комиссаршей спал? – сходу атаковал он. – На! Читай! А мне – в санузел: как бы бумажки не перепутать! – отдал мне сложенный вчетверо лист бумаги, стал пыхтеть и снимать ботинки.

– Что это?

Анпиратор приложил палец к губам: тс-с-с! – и стал наседать, активно подмигивая при этом:

– Ты когда за квартиру последний раз платил, керя? Хочешь, чтоб воду отрезали и свет перекрыли? Одевайся, сейчас я в кабинку забегу – и поедем платить по счетам. Ну, ты и село, блин! Вот и доверь тебе, колхознику, квартиру! Хорошо ещё, что телевизор не пропил – вон как от тебя сивухой-то несёт, матушки!

Юра ушел в ванную и открыл там воду. Я стал к оконному свету и развернул бумагу.

«Это я, Коська. Керя, теперь у меня есть полный текст той записки, что была зажата в кулаке твоего вольнослушателя С. Р. Вот копия:

«Дядя Петя, не знаю, останусь ли я в живых. Сообщаю, что торговлю детскими органами прикрывает Прохор. Детишки уходят на запчасти за огромные деньги: роговицы там и так далее. То же говорит и судмед Вадик, чего ему терять. Мы поняли: нам здесь крышка. Куда там твой хлеб! Моим начальникам, я думаю, этот мрачный факт известен. Они нас всех гуртом в стойло загнали, как индейцев, и потрошат. И тут всех нас скоро, не спеша, на запчасти пустят. Потому нас с Вадиком и не выручают. Я-то ладно, а он ведь хороший специалист. Жалко его. Грешить, дядя Петя, не буду, но скажу, что все они, кто у власти, – одна колода. Тусуй её, не тусуй её – одна шняга. Повеселюсь тут с бандюганами напоследок. Прощай, дядя Петя. Родителей я не знал. Может, я некрещёный, но крест на мне есть. В Чечне повесил. Помолись, батяня, за мою грешную душу дурака с ментовским стажем. Твой Славка. Аминь».

Тут меня прорвало – я заплакал.словно со слёзного фарватера вышибло дамбы. Плача я побежал к иконостасу, плача возжёл лампадку, плача же встал на колени и сорок раз прочёл молитву оптинского старца схимонаха Льва о погибших от насильственной смерти:

– Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего Вячеслава, и аще возможно есть, помилуй! Неизследимы судьбы Твои. Не постави во грех сей молитвы моей. Да будет святая воля Твоя! Аминь.

А до того как вернулся из ванной Юра, я осушил лимонную и начал вторую. Воду он не выключил – она шумела, как толпа футбольных фанов, так, что дрожали хрущёвские панели. Как пьяный сторож, орал сетевой динамик.

– Так, керя... – сказал он. – Всё-таки второе пришествие скоро, а ты сиднем сидишь да ещё и пьёшь без закуски. А ещё христианин называется. Одевайся! Сейчас будешь нашатырный спирт нюхать!

– Понюхай... – показал я ему кулак, которого керя Юра никогда не боялся. – Да кто ты такой! Анпиратор? Давай, Анпиратор. Садись, Анпиратор, одесную меня! Помяни сироту Славку, сегодня сироте Славке – девять дней. Понял, бич? Понял, паук? Понял, народного гнева хожалый? Понял, ты – агрессивное невежество?!

– А кто такой «хожалый народного гнева?» – спросил он.

Я честно ответил, что и сам не знаю, и выпил ещё стакан водки. Я уже думал о себе, что я и есть тот самый человек, о котором говорят «и один в поле воин». С этой хорошей мыслью тем же грозным кулаком я втёр свои слёзы в широкие скулы и уронил голову на стол. Юра пустил воду ещё из кухонных кранов.

– Я вот смотрю на своих одноклассников. Они совсем не развились. Как были их отцы – тёмные, пьющие, безграмотные, так и они. Я-то со стороны на них смотрю, а они-то не видят. Скоро придёт конец нашему краю, а наша хата – всё с краю! Аграрный край – на селе четыре дома

забито, только в пятом ещё доживают. Ты как, способен меня понимать? – спросил он, усаживаясь рядом.

По тому грохоту, с которым Юра приставил стул, я понял, что настроен он решительно, а я – не так уж и пьян, если понимаю человеческую речь.

– Отвечай, если хочешь жить!

– Кто, ты, что ли, керя, мне грозишь? Ты – мне? Да...

– Нам грозят, керя, – сказал Юра. – Иди, сполоснись холодной водой...

– Холодной?

– Желательно. Воду не выключай – пусть они упишутся...

Я молча указал пальцем в небо и вопросительно поднял брови – Анпиратор кивнул: да. Мы перемигнулись, как два судна на встречных курсах. Мне стало весело. Я сказал: – Х-хе! – и пошёл.

Из радиовещателя слышался не менее весёлый голос:

«Правоохранители ведут поиски пропавшего ребёнка. Выезжая по следам в Змиевской район края, они даже не предполагали, что их ждёт такой сюрприз: кроме мальчика, они нашли ещё несколько килограммов наркотического сырья.

Далее. С каждым днём шансов найти девочку, пропавшую в лесах Абагурского района, всё меньше. Друзья и знакомые пострадавшей семьи выдвигают версию похищения. Причём, называя имя конкретного человека. Напомним, в понедельник вечером Людвиг Кёних заехал домой после работы, взял детей и собрался в лес. В этот момент возвращалась из садика и, увидев дедушку, попросилась с ним внучка. В лесу, не захотев будить спящую внучку, дедушка оставил её в машине. Однако когда вернулся, девочки в машине не было. Не обнаружив внучки, Людвиг попытался сам её найти – не удалось. Весть о пропаже ребёнка быстро разнеслась по деревне. Беду семьи Кёних восприняли как собственную.

"Ах, зачем мы не уехали в Германию, как все люди!" – говорит мать пропавшей девочки.

Работающие на месте исчезновения ребёнка сотрудники Абагурского РОВД прорабатывают несколько версий. По одной из них – на девочку напал медведь. Медведей в этих краях много, однако местные жители утверждают, что сейчас они спокойные и сытые и для людей опасности не представляют. Немецкая овчарка так и не смогла взять след зверя.

"Ах, так приведите русскую, китайскую, какую угодно, марсианскую овчарку! Но найдите моё дитя!" – плачет мать, Анна Кёних...» – смаковал и тиражировал людское горе комментатор.

– Медведь?! – заорал я. – Ах, медведь?! Опять Германия?! Застрелю, гады! – я сорвал со стены, конечно же, не ружьё, которое должно выстрелить, а мерзкий ящичек, круглые сутки извергающий в мир ложь. И жёстко грохнул его о мягкое покрытие пола. Я впал в какое-то иступление и сокрушил бы ещё немало чужих предметов быта с криками: «Всех перестреляю, всех!»

С криками «Где медведь? Кто стрелял?» выскочил из кухни Юра.

– Какой медведь? На, контуженный! – и он выплеснул мне в лицо ковш воды: – Умойся, керя!

Короткое моё веселье облетело майским одуванчиком. А Юра уже сопел над обломками, выуживал какие-то радиодетали. Искал «клопа-жука». Я умылся, вернулся, ещё раз выпил. И задремал.

Когда Юра разбудил меня, я увидел в окнах не то сумерки, не то рассвет, но тут же и передумал думать о пустяках, потому что он сказал:

– Едем, керя, в больницу. Отец Глеб ждёт.

меня вдруг стало мутить.

– Остановись, друг Сальери! – ещё пребывая в эйфории, попросил я Юру. – Скажи, ты в курсе, что гений и злодейство – несовместимы? – и зажал рот носовым платком.

– Это ты несвежей водки натрескался, Моцарт, – сказал он. – Беги к киоску – там урна. Сунь два пальца в рот – и пройдишь по всей клавиатуре, Амадей. Потом купи мятных лепешек – и жуй, пока я не дам команду «отбой».

Так я и сделал, невзирая на мороз «со с ветром», как говорят старые сибиряки. А у отца Глеба за четверть часа ожидания губы стали синее глаз. Покуда мы крутились, чтобы подъехать к нему поближе, я видел, как он перекладывает из руки в руку старенький свой саквояжик. Завидев нас, он перекрестился и нырнул в тёплый салон машины, как в холодную иордань, если судить по его судорожному дыханию.

– Задержались! Простите, батюшка! Благословите! – заорал я весело.

– Астма... х-х-х! – прохрипел он, стуча пальцем по шарфику на груди. – Х-х-х... Благослови тебя Господи, Петя! Х-х-х! Здравствуйте, родные... Х-х-х... Что там... с эллином? Не ближний свет... х-х-х...

– Брат Грека помирает! Ухи просит! – веселился я, уже сознавая, впрочем, несправедливость этого хмельного и злобного веселья.

Батюшка спрятался от меня за невидимую стену крестного знамения.

– Ты, Петя – что? того?.. выпивал? Ай-яй-яй! Представь себе, отец, что твой Ваня малой напился? А каково Господу Богу – Отцу нашему – на тебя смотреть?

– Уже всё нормально, батюшка, – поник я. – Вы, отец Глеб, насквозь видите...

– Запах, – сказал он. И попрыскал в себя из синенького ингалятора.

– Жуй, керя, таблетки! – напомнил Юра.

– Да отвяжись, гуру!

– Это он на поминках был, батюшка. Мальчишку одного убили, товарища. Вы уж простите его?

– Я прощаю. Бог простит, – сказал отец Глеб. – Ох, отпустило, слава Тебе Господи!

– Он когда выпьет, батюшка, то на войну начинает проситься, – продолжал есть меня поедом Юра. – Если не пускают, то он плакать начинает. Что с него взять? Одно слово: контуженный!

Похоже, я приходил в себя. Слова Юры уже не задевали меня, как пули не трогают заговорённого. Ненужные слова, не произнесённые мной, падали у моих ног, висли на губах, как лужа семечек.

– А трезвый-то, батюшка, он у нас, керя-то, мухи не обидит! – развлекался Юра. – Человека – ещё куда ни шло, а мухи – ни-ни! Твёрдое «ни-ни».

– Мух не люблю, – сказал мудрый батюшка. Это значило, что он меня защищает от анпираторского сарказма, если помнить, что слова «сарказм», «саркома», «саркофаг» – одного древнегреческого корня, к которому принадлежит и ушибленный Грека.

Анпиратор понял и переключился:

– А вот дерзну, батюшка, спросить! Вы человек опытный духовно и житейски: соборование – это зачем? Оно помогает?

– Верой и покаянием жив человек. Если веруешь, каешься – помогает, отпускаются грехи. Но у каждого есть нераскаянные, забытые грехи. А грехи, Юра – корень всякой болезни...

– Но ведь нужен собор – семь священников! – прихвастнул своими познаниями керя и со значением покосился на меня в зеркало.

– Где ж их нынче брать, по семь-то на одного? Допущено совершать елеосвящение и по одному! Зерно вот есть, – погладил батюшка саквояж. – Пшеничка...

– О, это Греке подходит! – зубоскалил керя. – Это по его части!

– Да. Господь милостив к людям. Вино есть, из Каны Галилейской присланное... Маслице есть, всё есть – была бы вера...

Я этого спрута Юру с детства знаю. Сейчас пересилю дремоту – отобью батюшку у спрута. Я приёмы знаю:

– В машине, надеюсь, подслушки нет. Тебе кто про это сказал?

– Там, в службах, есть один большой человек, туркмен... Он мой товарищ. У нас в Театре киноактёра когда-то шла его пьеса. А в девяносто первом, в Москве, когда униженные и оскорблённые неотроцкисты опрокидывали Лубянку, он у меня в грим-уборной отсиживался...

– Я спрашиваю о Греке.

– А-а! О Греке? О Греке моя бывшая жена Наташа сказала. Говорит, этот, мол, Грека на том свете побывал, вернулся и уверовал. А по мне так: он был сатрап – сатрапом и остался. Чудеса, бачка! А вот просветите меня, революционера, бачка, по такому вопросу. Разъясните мне, тёмному и злему: быть революционером или не быть? В стране – война. Сам президент колонулся на ТиВи: войну, говорит, ведут против России. Слышали?

– У меня нет телевизора, Юра. Зачем? В окошко гляну на улицу – слава Тебе Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе Господи! Слава Тебе! – отвечал дипломатично батюшка.

– Так вот, бачка! Я уважительно отношусь к последовательной защите Православия моим керей, а вашим псаломщиком. Я тоже человек верующий, во всяком случае, принимаю мир всесторонне и с большой буквы. Но ведь правда – она превыше всего, так? Сказано также, что без воли Бога и волос не упадёт с головы. Теперь второй вопрос, уже без телевизора: есть ли, по вашему мнению, вина Русской православной церкви за гибель России в семнадцатом грозном году? За то, что народ так сильно захотел освободиться, извиняюсь, от «попов»? Я понимаю: атеистическая власть и прочие издержки новой жизни! Но семьдесят лет в каждом доме не дремал чекист – адепт мировой революции! Разве при царе-мученике церковные клирики не были виноваты в том, что простому человеку стало невозможно? Кстати, в театральном амбула простак – значит дурак. Этот дурак ухватил былинную, извините, дубину, размахнулся и с размаху снёс всё без разбора! Может, снёс и то, что вовсе не надо было сносить, бачка. Разве он один, а не пастыри его иже с ним повинны, что в этом антигосударственном отрицании, бачка, он отдал власть врагам своей жизни, своим участием дал им победить? А вспомните строки несчастного дистрофичного неопохмелённого Блока! Кто идёт впереди его революционных матросов? Христос! Так? Он что, бачка, на пустом месте возник? Значит, была со стороны пастырей ложь, служение не Богу, а власти. Значит, было и забвение правды, которой жил народ. Угасла, стало быть, искра Божия. Ленин дал простолыдину свою искру и свою правду! И разве сегодня *эриэцэ* не то же самое совершает? Мне кажется, что Иисус Христос ищет новых матросов.

– Заткнись, керя, – сказал я. – Что ты заладил: бачка, бачка! Выискались: благородный цыган Волонтир и *сто коней* в одном движке! Ещё Гапона вспомни, инсургент! Это он, батюшка, какую-то новую роль разучивает!

Наша детская дружба давно превратилась в марафонский забег двух упрямец: места уже распределены, призы розданы. Судьи пропивают гонорар. Болельщики болели-болели – умерли, а мы с ним всё ещё на дистанции. Побежали весной в спортивных трусиках – и вот он, падает снег, а нам не холодно. Это уже никакая не дружба – это родство больных душ. Мало ли?

– Насчёт *стаканей* молчи, пивец! – легко издевался Юра. – А кто это такой – Гапон? Из краевой филармонии, что ли?

– Из консерватории! – говорю я.

– Пусть говорит, тема знакомая. Помешкай, Петя, – успокаивает меня батюшка.

– Наверное, знакомая, бачка! И лично вас – упаси Бог! – я не обвиняю. Я читал, что сам владыко Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, говорил, что потворствовать антихристианской власти есть величайший грех. Но снова жизнь русского человека требует громадного напряжения сил. Власть христианская по форме и антихристианская по содержанию, не так ли? Так? Так ежу в зверинце сие понятно. А где их, эти силы, черпать? В непротивлении? Им того и надо! Тогда плюнь, Петюхан, керя мой дорогой, и отрекись, благодетель, от своих товарищей, от тех, кто остался на баррикадах! Ну? Давай, плюй, кормилец! А жену отдай дяде, смирись! А у него, батюшка, у кери моего, – сын Ванька! Малый такой Ванька, несмышлёный. Вы его, андела, знаете. И что? Смирись, Ванька, будь агнецем, да? Будь покорным барашком, когда тебя бьют и плакать не дают. Ему дяденька в чалме или в кипе байт: «Дай, Ванятка, я тебя по щеке смажу!» А Ванятка-то наш Петрович: «Пожалуйста, мистер! Я сей же час и другую щечку подставлю-с!» Про ножички – по умолчанию. «Расти, Ванятка, пока я кынжял точку!» Так? Пока

какой-нибудь тихий инок будет сухари с водой грызть да думать, разумно ли воевать, грубый материалист его попросту убьёт. По стенке ещё и размажет!

– Это тебя размажут! – буркнул я, разделяя, впрочем, тревогу кери. – Заноют! Зазундят! Вот, мол, церковь должна то, должна это, а попы с мобильными телефонами бегают. Да ничего ни церковь, ни православные батюшки тебе не должны! Это ты им, собака, должен за то, что они молятся о тебе дни и ночи, харя ты, личина ты актёрская, двурушник, Всемирный Царь-Побирушник! А уж за себя пусть сами ответят, но не тебе, фармазон!

– Сам дурак – это мы слышали. Вот посмотрите на моего керю Шаца, батюшка! Вот он сидит, жуёт мятные лепёшки, убивает духман. Был герой, а теперь – башка. А у него, батюшка, сын на загляденье, вы видели, как он кошкам хвосты крутит? И посмотри теперь на побирушку этого, на Алёшу, на мою молодую гвардию! Спросите его: с кем он пойдёт дальше, в грядущее? С набожным дядей Петей или с геройским дядей Юрой? Со мной пойдёт, потому что у него мамку убили «ляпкой»! Он за неё семерым пасть порвёт! И вспомните, что именно у ребёнка личность существует в почти Божественном виде. А вспомни-ка и ты, керя, Ивана Карамазова: «Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой». Это ваше непротивление отдаёт их невинные, ангельские души прямо в вонючие, чесночные пасти сатаны! Надо привести в чувство наше священство! Там значительно больше служащих Маммоне, нежели пастве. Ведь с их слов получается так, что самое лучшее – если бы народ быстро и тихо вымер. Вы меня простите, батюшка! Я не противник Православия!

– Бог простит! – сказал отец Глеб. – Я не силён, Юра, в литературе... Да, не силён...

– Так я напомним все-таки Ивана Карамазова: «Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю!» Нынче в великой, красивой и мудрой стране – какой только гадости нет! На просторах России православным христианам скоро вовсе негде будет главу приклонить, как Сыну Человеческому, а ленивые попы продолжают обновлять свой автопарк – в «жигуль» уже брюхо не влазит. Вот с этим непротивленчеством-то корысти никак простые люди не разберутся уже третье тысячелетие! А их выкашивают по всем кочкам косой-горбачём! Вот шарада-то! Вот теорема Ферма! Я знаю, что вы скажете! Вы скажете, что эти, мол, тексты из-за исторических, дескать, условий их создания допускают вздорные толкования. Так скажите своим баткам, чтоб набрались окаяинства да изъяли их из обихода либо дали им здоровое толкование.

Он замолчал. Мхатовская школа. Паузу держит, как Грибов.

– Всё, Юра? Отпустило? – смиренно спросил отец Глеб. – Слава Богу! А ты, Петя, знаешь «Иже херувимы» греческого распева?

– Нет, батюшка! – радостно, как бравый солдат, отвечал я. – Но я разучу!

– А она, Петя, вот как поётся... – и он запел тенорком.

Слопал, Анпиратор? Знай наших и не гоняй по лицу мимическую гамму для адекватного отображения чувств! С точки зрения актёрского мастерства, мне лично хотелось бы чего-нибудь поэксцентричней.

Задремал в тепле батюшка.

Дремал и я, думая о том, что Юра может сжиться с образом и ролью Анпиратора. Он великий актёр. И люди за ним пойдут. А ну как роль Анпиратору надоеет и он напишет отречение?

4

...Когда я чувствую талант в человеке – и не обязательно художественный – на душе моей становится легко и празднично. А если я пьян, то хмель покидает голову. Габышев с лицом братьев Кеннеди и Гендын с лицом китайца бурно одобрили наше решение, о котором вскоре знала добрая половина миллионного города. Нас не любили власти, но любили горожане, горожанки и селянки с теми же селянами.

Вскоре были проводы от Гендына. Гендын снимал тогда трёхкомнатную квартиру на Серостана Царапина в районе общественной бани. Он наварил браги, мы выпивали, пели. Юра

стал раздавать наше имущество. Человеку по фамилии не то Кусиков, не то Пусиков он отдал мои часы, говоря, что скоро мы с ним разбогатеет. Кусиков незаметно исчез. Стали искать, высказывали предположение, что он пошёл пропить мои часы, но оказалось, что он в ванной комнате проверял часы на водонепроницаемость. Там же прислонился к стене и заснул стоя.

Мои часы шли. Время – деньги, и они кончились, вещи розданы. «И приспе осень...» – пора на поезд.

Похмельный и простой, ещё более похожий на юного Дэн Сяопина, Гендын сказал:

– Денег нет. Аванс через неделю. Чем питаться-то, кери, будете на пути к славе?

– Да иди ты со своим Славой! – отвечал Юра. – Слава ему какой-то! У нас Габышев есть. Он большой. Возьмём с собой, съедим. С пассажирками рёбрышками поделимся.

– Меня, кери, много не ешьте! – попросил Габышев. – Вырвет!

Гендын остался дома, прикрывшись тем, что сердце его не выдержит расставания, а ему ещё детей рожать.

Пешей дорогой на вокзал мы зашли в диетическую столовую на улице Оленина, где, по рассказам Габышева, работало восемь его любимых женщин, старшей из которых недавно справили пятьдесят пять лет и дали почётную грамоту. Мы знали, что нет работника общепита, с которым не смог бы Серёга Габышев найти общего копчёного языка. Будь это и работница с такой выдающейся грудью, на которой вывешены все мыслимые ордена, значки и почётные грамоты. Серёга, как и проклятые США, куда рвался Гендын, весь состоял из контрастов. Никто и никогда не видел Габышева злым – только строгим. Высокий, белокурый, с правильными чертами лица, с добрым отеческим взглядом и бабьим голосом. Видно, торговым женщинам это путало ориентацию, а мужчин прельщало. Главное, его никто не боялся, что очень важно для пребывающих в вечном искушении рядовых общепитовского войска. И впрямь – старшая жена с доброй улыбкой в районе румяного кустодиевского лица вынесла нам круг копчёной колбасы.

– Ты, наверное, видела, милая моя Софья, эту парочку по первому каналу телевидения! – говорил он, кивками головы указывая на нас. Одной рукой он ласково окрылял даму за плечо, а второй – прихватывался за спасательный колбасный круг, который дама ещё из рук не выпускала. – Вот тот, который поглупей на вид, это первый писатель России Пётр Шацких...

– Какой молодой! – сочным контральто говорила эта добрая женщина.

– А тот, другой, в тёмных очках – это артист Юрий Горыныч Медынцев, известный любителям немного кино в роли Змея Горыныча. Когда его утверждали на эту роль, то из-за жуткого совпадения отчества претендента и персонажа пожилая народная артистка Раневская...

– Фаина?! – ахнула несчастная от близкого счастья женщина. – Как я её люблю! Что с ней случилось?

– Да! Да, Фаина! Она тоже любит полных женщин. Так вот она сказала: «Ого-го!» и задышала, как слонёнок.

– Ого!

– А теперь, Софья, давай колбасу и беги за бумажкой под автографы. Только не вздумай мять! Не мни её! Пацаны, по автографу женщине, быстро!

– Ой! – подхватила та. – Побегу руки помою!

– Беги, родная! А мы – к неродной Надюшке за куриями!

– Бендер хренов! – уходя навек, беззлобно сказала любимая.

Младшая повариха, которая среди лета болела гриппом, была ещё более доброго нрава. Она дала нам в дорогу две добротных варёных курицы и десять рублей на сигареты.

– В Америке таких, как мои, девок нет! – похвалил её похожий на братьев Кеннеди Габышев. – Смотри: у неё грипп, а она на общепитовской кухне несёт трудовую вахту. А гриппом ты, Надюшка, не от кур заразилась? Куриный грипп – это ведь верная смерть коровам!

– Ты, Габышев, балагур и весельчак! – смеялась девчушка. – Куры-то диетические!

– Смотри у нас! Почему под халатом ничего нет? Где районный ЭСЭС-надзор? Знай, что моя фамилия Габышев правильно звучит так: ах, кабы, шеф! Или: гэбэшеф!

Потом Габышев стал приставать к девушке. Он предлагал разделить с ним его звучную шефскую фамилию, а нагнал нас уже на перроне. Прощаясь, он пожал руку мне, которого почитал

как старшего, потом Юре. С большим сожалением глянул Габышев на куриную ножку, торчащую из авоськи, сделал вежливый полупоклон и пожал эту ножку.

– Идите сразу в вагон-ресторан – я договорился! – громко, на публику, верещал он и строго грозил пальцем кому-то за нашими крепкими спинами. – Ждите нас с Гендыным в Москве, стойте возле Кремля – никуда не уходите. А лучше всего – послушайте меня, старого солдата! – лучше всего устраивайтесь часовыми к Мавзолею имени Ленина! Ничего делать не надо – и кормят на убой! Убой у них, пацаны – смешно сказать! – раз в эпоху!

– Молодой человек! Что это вы такое говорите! – начал было старичок под соломенной шляпой. – Как вы смеете! Вы знаете, что товарища Ленина собираются вынести из Мавзолея имени Ленина?

Серёга нагнулся к нему, что-то шепнул на ухо под шляпой. Тот разулыбался и мрачно сказал:

– Ага, товарищ! Понял, товарищ! Опоздали! – подмигнул нам и поплёлся в свой мягкий вагон.

Тут мы услышали дальше «Гитара! Гитара-а-а!» и увидели, что это Гендын бежит к вагону.

– Вот и еврокитаец мой когда-нибудь в Страну Жёлтого Дьявола уедет! – печально и провидчески сказал Габышев. – Умирать мне одному в моей Стране Чудес!

– И ты, Серёга, с ним мотай! – подмигнул Юра. – Вдвоём весело, вот посмотри на нас с керей!

– Вы что хотите, чтоб меня убили? Я ж на братьев Кеннеди похож...

– Гита-а-а-ра! Стоп-кра-а-ан! – в устремлённой вперёд, на запад, руке этот восточный человек тащит едва не забытую нами гитару. Была бы наша гитара нынче в Голливуде, поскольку Гендын работает таксистом в Калифорнии.

Вот такими мы были голодными и жестокими – мы отъезжали. Оркестров и медных труб не было. Грустный Габышев и весёлый Гендын шли за вагоном, как белый и рыжий клоуны, и кричали поочерёдно:

– Москва – за углом!

Уходили на восток от поезда заводские трубы Горнаула и всея Западной огромной Сибирюшки.

Мы ехали строго на запад. За то, что мы чистили картошку в вагоне-ресторане, где обнаружили знакомые Габышева – любимца дам из сфер общепита, – нас кормили как дорогих гостей, а мы им пели после закрытия ресторана. Наша вольная, сытая и весёлая жизнь вызывала раздражение двух мужичков, имеющих вид кандидатов на зону или её дипломированных выпускников. Однажды после закрытия ресторана они бесцеремонно уселись за наш столик, представившись:

– Спецназ! – и предложили побороться на руках.

Юра положил обоих поочерёдно сначала правой, потом и левой.

– Спецвас! – сказал он. Те встали и вежливо ушли. А Юра Медынцев уже улыбался официантке и показывал на столик: – Спецнам!

Так мы, по-растиньяковски простые ребята, приехали в Москву к Мане. Юра – впервые.

5

Марианна Васильевна Коробова, Маня, была передана нам по наследству сибирским поэтом Иваном Шубиным. Во время бно Иван Шубин потрясал Москву своей изысканной простотой, а его приезды в столицу были похожи на явления ей старца Григория Ефимыча. Творческая элита андеграунда начала семидесятых годов двадцатого века трепетала, внимая его опусам, подобным этому:

Слепили снежную бабу.
Оставили её под луной.

У друзей по две, по три бабы...
У меня – ни одной.

Или:

Пляши, пляши, Плисецкая –
Всё стерпит власть советская.³¹

С ним дружили режиссёры и писатели Евгений Баритонов и Валерий Смелякович, киноактёры Виктор Вавилов и Паша Сашечкин, поэты Лианозовской группировки и Людмила Митрашевская. Сам Андрей Сходненский – кумир «шестидесятников» – называл Ивана «сибирским киником». Вот он и осваивал теснины Москвы как представитель сибирской «пятой колонны» и был как бы нашим квартирмейстером. Иван и познакомил меня с Маней Коробовой, к которой я поселил Юру.

Маня окончила МГУ как психолог. Её отец, генерал-майор инженерных войск Василий Васин, в годы войны изобрёл выкидной мост-ленту и был удостоен за это Сталинской премии.

– При форсировании рек эти мосты спасли жизнь не одной тысяче советских солдат и сотням офицеров, – говорила Маня, как добротный экскурсовод.

Покойный муж Мани, Фёдор Дмитриевич Коробов, близкий родственник актёра Зиновия Херто, был профессором-медиком и занимался психологической подготовкой космонавтов. По возрасту он был старше Маниного отца, с которым был дружен с довоенных лет. Ко времени нашего знакомства Мане было едва за тридцать. Была ли она тогда красива? Скорее нет, чем да. Но она из тех редких людей, которые светятся, сгорая, и мудрому терпению которых нет видимых пределов. Генералов Васина и Коробова уже не было в живых. Они оставили Мане непреходящую любовь к себе и пятикомнатную квартиру, неистребимую привычку к красному вину, разбавленному водой, много книг, карточных колод, шляпок, диких вещей. Наследственное старомосковское гостеприимство делало Маню всё более нищей.

Как говорили в старинных романах, двери её дома всегда были широко распахнуты. Как глаза гимназистки на первом балу, грозящем перейти в пожизненную оргию. Для профессиональных московских бездельников лучше не придумать. Сама она, словно находясь в затворе, не выходила из дому месяцами. Маня оживала с приездами людей из внешнего дикого, угловатого, яростного мира. Всегда изысканно вежливая и доброжелательная, чопорно тонкая во вкусах, широкая в жестах, худенькая, мальчиговая, эта инженерю в заношенных джинсах была в меру иронична и по-особенному сердечна. Меценатствуя из последних сил, она старалась не замечать, что из её дома пропадает всё наиболее ценное, будь то редкие книги или старинная вещь из серебра, рукопись покойного мужа или отцовский мундир с шитьём. Маня не была сибариткой, она будто ставила на себе и своём достоянии некий психологический опыт по определению меры человеческого падения.

Она пила разбавленное дешёвое вино. Она никогда не напивалась, а всё мурлыкала, как сытая львица.

– Колечка... Ванечка... Юрочка, поговори, как Борис Андреев!.. – и смеялась смехом счастливого, довольного полнотой жизни человека. – Ах, сибирские экстраверты, растуды вашу мать!

Маня и сибиряков любила по-старомосковски. Нас было за что любить.

– Юрочка, расскажи про Алтай...

Тот делал лицо несчастного второгодника и начинал:

– Места у нас богатые... Ниже в степь, за глухие волчьи логова, – деревня Саши Домкратова-Чёрного, а туда, выше, где в прошлом году медведь-шатун утащил жену приседателя

воблисполкома, – село космонавта Китова...

Световой режим в комнатах Мани во все времена года был неизменным. Светило ли солнце, или светились электрические лампы – в квартире дрожал полумрак. Курили все, кто хотел, и всё, что хотели, потому зимой и летом форточки открывались настежь. Юра вошёл в роль опекуна хозяйки. Вначале он с напряжённым недоумением, исподлобья наблюдал за праздными гостями Мани, вслушивался в их умные беседы бездельников и сачков. Не понимал, например, как можно, зная китайский язык, работать уборщиком в картинной галерее. Керя не понимал, почему место уборщика этот москвич считает тёплым, – и всё тут. Он не предполагал, что сей печальный факт – предтеча грядущего славянского посудомойства в Новом Свете. Но я его, керю, понимаю: знай наш Гендын китайский язык – ого! – был бы уже сопредседателем КаПэКа.

Человек запредельно чуткий и недвусмысленный от природы, керя в знак протеста матерился так витиевато и необычно даже для карьеров Китаевска, что московский «бомонд» воспринимал эти его маты как шедевры туземной фольклористики.

Но это была всего лишь артподготовка.

– Я их всех разгоню! – сказал Юра. – Хочешь?

И Маня, и я, грешный, долго объясняли ему теорию законов среды.

– Это моя среда, Юрка... – ворковала психолог Маня.

– Когда будет воскресенье, Манька? – рычал Юра.

– Воскресенья не будет... – Маня могла быть жёсткой, как сухарь на её кухонном столе. Юра смирился тогда, но рывкнул для остратки:

– Ну и хек с тобой!.. – и тут же засмеялся, лукаво поглядывая на нас своими варначьими сибирскими глазами: он ценит в людях умение стоять на своём.

Несколько дней мы жили впроголодь, в ожидании моего гонорара.

Названивали знакомым, выискивая их театральные связи.

Читали. На огромном ковре лежали десятка полтора карточных колод. Маня ползала по этому ковру и манипулировала картами то из одной, то из другой колоды. Юрка косил на неё глазом от книги, потом поймал мой взгляд и кивнул: выйдем, мол. Мы вышли в кухню.

– Чо эт она делает? – спросил он. – Вoroжит?

– Эх ты, керя! Театральное училище кончал! Что – пасьянсов не видел? Пасьянсы она раскладывает...

– А-а... – якобы понял он и зевнул. – Нет, я подумал, что она гадает. Потом, не у всех же нас папы – лауреаты! Мы студентиками-то всё вагоны по ночам разгружали. Я и сейчас бы не прочь вагончик-другой разгрузить. По девушкам, что ли пройтись?

Пошел чистить зубы и растерялся в обилии импортных тюбиков – почистил зубы турецким кремом для бритья.

В гостиной разговаривала по телефону и весело смеялась Маня...

Была ли у неё в нашу пору личная жизнь – не могу знать и не имею права рассказывать. Но, зная её дальнее родство с Херто, я вёз керю Юру к ней. И в то её печальное время, когда из владелицы пятикомнатной квартиры Маня постепенно превратилась в обладательницу четырёх-, трёх- и, наконец, двухкомнатной, она ни в чём нам не отказывала. Эта квартира находилась в Руновском переулке у метро «Пятницкая». Оттуда ставший вскоре очень знаменитым Юра и стартовал в большое кино. И на эстраду. А Маня так с горы в тазике и едет. Похоже, ей в тазике хорошо. Ей нравится ехать в этом тазике вслед за любимыми отцом и мужем, не думая о земном...

К чести кери скажу, что он до сих пор платил Мане личную пенсию. Когда бывал в Москве, то травил тараканов в её окраинной клетушке, катал тефтельки из яичного желтка с борноукислотным гарниром.

– И там стоит, керя, плита какая-то небольшенькая газовая – и всё! – восьмиметровая комнатёнка. На Мане джинсы. В этих джинсах, керя, хорошо светить голой задницей во тьме либерализма. Мы, керя, вместе с ней пошли на улицу, она меня завела не куда-нибудь, а в свой излюбленный комиссионный магазин. Я ей говорю: «Маня! Денег я тебе не дам – пропьют их твои клеветы! А куплю из одежды всё, что захочешь». И выбрала она себе, керя, какие-то вельветовые штанцы, какую-то куртишонку! И этим ограничилась. А там ведь шикарные висели пальто, и

денег у меня была тьма. То есть можно было купить что-то приличное. Но у неё, понимаешь, керя, стиль: спортивный, дешёвый. Вот тебе и генеральская дочка! А может быть, она понимает, что у старых вещей больше шансов сохраниться в её, Манином, доме...

...Когда я заезжал к ней в девяносто третьем году, она, беззлобная, так и жила вдвоём с огненным ирландским сеттером Лизой в однокомнатной камере «хрущёвки» на окраине Москвы. И вокруг них с собакой, вокруг земных сирот, по-прежнему колготились какие-то шакалы. Добрые люди ей отдавали косточки для собаки – она варила из них супы и ела. Маня весело сообщила мне, что сделала важное открытие: оказывается, мослы можно вываривать на бульон до трёх варок.

6

Ещё древние апостолы в Палестине мазали больных маслом и исцеляли их.

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему...» (Иак. 5: 14,15).

Соборование в больнице – дело непростое, хотя бы потому, что люди с улицы, как мы, должны помнить о стерильности. Второе: чем тяжелее заболевание, чем выше утомляемость человека, тем короче совершаемое таинство.

В приёмном покое нас встречала Наташа со стопкой сменной обуви и халатами. Красивые волосы Наташи были убраны под зелёный колпак больничной униформы. Лицо выражало набожность и смирение.

Она склонилась перед отцом Глебом:

– Благословите, батюшка!

– Чо ты волосы-то запрятала, как блокадница сухари? – язвил Юра.

– Прошу вас и вашу высокую свиту, Анпиратор, не произносить слова «сухарь» при нас с Ваней. Пойдёмте, я вас раздену и одену.

– А куда это мы попали? Хорошо. Раздень, – продолжал он ёрничать.

– Простите их, батюшка, ибо не ведают, что творят, – попросил я. – Они всё ещё думают, что они муж и жена и что пьют чай на своей убогой кухне. Что случилось с твоим буржуином-то, Наташа?

– Ой! Иероним Босх с ним случился! – сказала Наташа. – И он уже не буржуин!

– Так, может, им всем, буржуйам, пережогом по репам настучать? – озаботился керя. – Надеюсь, *Босх* простит, а, батюшка?

– Наташа, там у меня в кармане пшикалка от астмы, – умолчал в ответ батюшка. – Захвати её, детка! А ты сказала болящему, на каких условиях мы пособорует его и причастим? Он готов к исповеди? – спросил батюшка и, когда она ответила утвердительно, то уже ехидно, как искушённый ритор, поинтересовался: – А вы, Юра, на каком языке разговариваете?

– Это он на суржике изъясняется, батюшка, – желчно сказал я. – В образ своего парня входит. Иначе революционные братишки его, батюшка, не поймут!

– Ябеда! А в детстве был совсем неплохим парнем, пшикалка ты несчастная! – обличил меня керя.

– Наташа, у тебя диктофон с собой есть? – по примеру батюшки я стал пропускать колкости кери мимо ушей. – Надо рассказ Ивана-то твоего записать!

– Я уже всё записала, Петюнчик! – сказала она и постучала себя указательным пальцем по лбу. – Помнишь «Восхождение в Эмпириан»?

Я помню и картину, и юношеское увлечение и МОСХом, и Босхом, и Моуди. На картине Иероним Босх изобразил прохождение души через туннель. А жил Иероним в пятнадцатом веке. Должно быть, ещё тогда кое-кому были известны путешествия вне привычных представлений о пространстве и времени. Нечто подобное случилось и с хлеботорговцем Иваном Харой, человеком, почитающим крест, но невоцерковлённым. И святой страстотерпец, и домовый с

кикиморой, как я понимаю, были для него персонажами одного ряда. Он и про землепашца Микулу Селяниновича слыхом не слыхивал, а торговал же хлебом! И вот Господь, являя особую милость к падшему, вразумил его самым непостижимым образом. К тому же Иван Георгиевич бойко заговорил по-русски.

– Пэрэдо мной, батюшка, вознык сэрэбрыстый круг, котори сталь вдруг, батюшка, сужаться, сужаться... И – корыдор! Сэрэбрысто-голубой! – рассказывал Иван.

Наташа всхлипнула – ночные дежурства сломали её.

– ...Появился эта сэрэбрысто-голубой корыдор – и меня, батюшка... меня понесло по корыдору навэрх! Я понял, што умер, но страха – нэ биль...

Они сидели возле его кровати, похожей на паровоз братьев Черепановых: отец Глеб, Наташа, Юра и женщина – доктор Ксения. Наташа всё промокашечкой глазки утирала, обливаясь слезами умиления. Доктор Ксения – та всё улыбалась и на знаменитого Медынцева смотрела, а он – на неё. Я, стараясь не пялиться бестактно на исхудавшего купца Хару, поставил на столике сосуд с маслом и блюдо с зерном, что знаменует щедрость и милость Господа к людям, и начал слушать и наматывать вату на концы семи палочек, потом мне нужно расставить семь свечей вокруг сосуда. Но я внимательно слушал.

...Смерть длилась полторы минуты. Там, на небесах, – яркое, золотистое, голубоватое, зеленовато-лазурное пространство. Оно похоже на фон редких старинных икон. Там его встретили несколько светозарных, прекраснеликих сущностей «с тэламы, с рукамы». Они протянули их к Ивану Георгиевичу. Они приняли его душу. Тогда он испытал неземное блаженство и радость от той несказанной любви, которая исходила от этих существ. Все его страхи, отчаяние и переживания о земном мгновенно стали дорожной пылью. Они утратили значение как пустое и ничемное.

– Вес зэмной любоф – это не любоф, а самсэбэлюбие по сравнению с небэсным любоф, – твёрдо сказал Иван Георгиевич. – Прычем всо биль абсолютно реально, а потом я, батюшка, вдруг услышал голос: «Ти нужен на земле, твой путь ещё не закончен, иди – и выполняй свой долг».

И через мгновение он оказался на потолке в операционной, откуда, и начал своё путешествие.

– Голи! Как мух! – пояснил он. – Сталь вот так озырать...

Сверху он увидел своё почерневшее, серо-зелёное тело, которое держала за руку доктор Ксения. Голова запрокинута. На бывшем лице – отвратительная улыбка. Ему не захотелось возвращаться в тело мертвеца.

Он видел, как доктор Ксения отпустила его руку и произнесла:

– Умер.

А Иван Георгиевич стал живей прежнего, но прозевал мгновение входа голым в это грязное чужое пальто, которое опять стало его телом. Он почувствовал только, как из него выделилось много вонючей слизи по всей коже. Полёт полностью изменил его. В одно мгновение он стал совсем другим человеком. И ему стало крайне стыдно за всю свою грешную грекину жизнь.

– Теперь я нэ боюсь смэрти, – сказал он и улыбнулся доктору Ксении. – Я знаю, что здэшний моя жизнь совсэм не тот жизнь, ради которого надо тратить её врэмь... Я хочу пожертвовать господын и госпожа Шацкых дэнги на храм. Наташа сказал мне, что Пётр с женой строит храм. Прошу прынять жертву и на дэтский дом... Вопрос о зэмле я рещу...

– Ах, Ваня! Ванечка! – всплеснула руками Наташа. Похоже, что и она вкупе с Иваном Георгиевичем слетала на небеса и вернулась преображённой. – Милый Ванечка! Как вы отнесетесь, Петя, к предложению Ванечки?

Не привык я к хэппи-эндам.

– Это как батюшка благословит, – ответил я, поражённый услышанным и не очень-то разбираясь в тонкостях темы жертвований.

– Тайна исповеди, дети! Оставьте нас с Иваном Георгиевичем, – извинительно попросил о. Глеб.

Мы скинули халаты, шлёпанцы и пошли курить на улицу.

– Я вас догоню, родные мои! – сказала вслед Наташа с нашими халатиками на руках.

– Нас не догонишь! – ворчал Юра. – Ваню своего догоняй, не то упорхнёт на небеси – и облом!

«Нет, не упорхнёт, – думал я. – Не суждено нынче батюшке, слава Богу, читать канон на разлучение души от тела...»

Я ещё думал о том, какая гора свалилась бы с Аниных плеч, отвали ей побывавший на небе Хара денег на постройку храма. Даже дыхание моё стало судорожным.

– Это не его деньги, – прочитывая мои мысли, рычал Юра. – Это деньги нищего народа!

– Твои, то есть? Да?

А детский дом – это сбывшаяся наша с Аней мечта. Вот и был бы я там директором, смотрел бы на старости лет, чтоб сироты под призрением были, а маленький Алёша... Оп! Но где же Алёша?

– Я говорю: это деньги ограбленного народа, керя! Слушай ухом! – он понизил голос. – Есть реальный шанс завалить выборы Шулепова вместе с его административным ресурсом. У Шалоумова – убийственный компромат на его Прошку: крышевание похищения детей, торговля человеческими органами и отъём городских свалок под какого-то своего деверя...

– А свалки ему зачем?

– Да уж не затем, чтобы трупы прятать, ворон кормить! Со свалок чудовищные деньги идут. Слушай дальше. Они знают, что у Шалоумова – этот мешок грязи с кровью. Шила-то в мешке не утаили – и начали нас гонять. К тому же три дня назад на складе одной кадрированной части в Бибирюлихе обнаружилась недостача пуда взрывчатки и тыщи штук детонаторов. Вот под это дело они нас, керя, и заарканят. Радует одно: Россия начинает поднимать дубину народной войны...

– Где уж там... Дубину... Разве что такую, как ты...

– Утверждаю со всей определённой. Керя, надо сегодня же к вечеру продраться в эфир, дать залп из крупного калибра – и по кустам. А с доктором Ксенией я сойдушь пока чуть поближе...

– Зачем?

– Три местечка в реанимации забронировать: мне, тебе и Шалоумову. Ему – в первую очередь. Они ему радиорубку мяса устроят, если вовремя не укрыться.

– Обязательно укрываться? А ты меня спросил, прежде чем мне укрываться: иду я в эфир или не иду я в эфир? Почему ты за меня решаешь? Или я член твоей партии?

– Ты – мой пресс-секретарь, я выдал тебе документ. И подумай наконец о своём кере, о Шалоумове! Он ведь их допёк: передача по форме – либеральная, а по содержанию – бунтарская. Разобрались! Сподобились! Скоро руки – за спину! И ты хочешь бросить его одного?

– Твой документ я уже бросил в мусорный ящик...

– Несмешно!

...Прошлогодняя шалоумовская «Радиорубка мяса» за пару месяцев сделала его передачу хитовой. Рубрику «Переводы с казенного на русский» слушали по сети разные люди в разных местах – это был вертел, на который неожиданно для себя нанизывались многие из «уважаемых людей».

– Иван Иванович, вы человек компетентный, – запускал он леща. – Поэтому я и пригласил вас, чтобы вы помогли прояснить ряд вопросов. Но мне, кажется, наши радиослушатели не всё поняли правильно. Например, когда люди вместе работают, обеспечивая свои семьи и свой дом, вместе едят свой хлеб, добытый в поте лица, – это некая взаимозависимость. Так, Иван Иванович? Вы согласны? – доброжелательный паук раскидывал паутину.

– Бесспорно! – жужжал отвыкший думать жук-воротила Иван Иванович.

– Когда они берут в долг у ростовщика под неоплатные проценты, заложив свой дом, огород, детей этому доброму ростовщику, – это зависимость. Согласны? – поднимал паук своё ядовитое

жало.

– Да! Это так, да! – жужжал жук, становящийся жучком. И по радио видно было, как старательно кивает он головогрудкой. – Бесспорно!

– Объясните нашим слушателям: что вы имели в виду, когда произносили слова «государственная независимость России»? – поднимал Шалоумов сачок.

И начинались красноречивые покашливания и повизгивания, вздохи, стоны, напоминающие агонию коровы, обожравшейся майским клевером. Причём наш Пери Мэйсон легко находил слабаков, тьма которых и составляла чиновничье большинство.

Или Шалоумов запевал:

– ...Нам пишут, что всё, произнесённое вчера в Давосе министром А., – чистейшая спекуляция русским языком. Давайте попробуем понять, что же сообщил нам и всему миру человек, которого мы наняли на работу министром наших внешнеполитических дел. Итак... – Он зачитывал пустую болтовню министра и говорил: – Отчего же? Очень грамотная деза. Давайте не забывать, что нас окружают враги, что войска НАТО стоят у наших границ. Министр умышленно гнал туфту. И ещё: где же здесь спекуляция русским языком, когда ни произнесено ни одного русского слова!

Или:

– Часть нашего общества знает, как отличить халву от халявы. Но, как известно, сколько ни произноси эти сладкие слова, во рту слаще не станет. Вот слюноотделение они вызвать могут. Семён Дмитриевич, пожалуйста, объясните нашим слушателям смысл произнесённого вами слова «демократия». Поскольку, чтобы взывать к чему-либо, в данном случае к демократии, хорошо бы знать хотя бы контуры этого «чего-либо». Иначе оно вызывает тошноту, а кое у кого, как нам сообщают, и неудержимую рвоту.

Шалоумов вовремя сманеврировал. Он предложил ввести индексированные штрафы за моральный ущерб, нанесённый заведомо бессмысленной речью. Он назвал словоблудие, косноязычие политиков – преступным, уголовным деянием, обманом, умышленно вводящим обывателя в заблуждение, и предложил себя в главные эксперты специальной комиссии при краевом суде. Он приобрёл имя, свой круг слушателей, а рубрику закрыл. Однако Шалоумов есть Шалоумов, так люди и говорили. Так неужели нас взяли в разработку? Отчего так откровенно?

– Керя, ну откуда тебе это известно про контору?

– Керя, был бы ты мне врагом, чёрным вороном – сказал бы! Но мы же кери. «Номыжекери» звучит почти по-французски, по-мушкетёрски!

– Да дерьмо они, эти твои мушкетёры с их мушкетами, мушкетонами, шпагами и флагами! Если мой Алёша не найдётся – купишь мне гранатомёт! Эрпэгэ двадцать шестой. Ясно? Пока нас не кинули в узилище, плюну разок в эту грязную посудину, – сказал я. – Иначе никаких от меня эфиров.

– Станный ты парень, керя. Опять развоевался! Может, все писатели сами себе что-то выдумывают, а потом над вымыслом слезами обливаются? Скажи, зачем тебе гранатомёт, когда мы Шулера прямым эфиром навеки дезавуируем? А потом его свои же в асфальт и закатают. Будет лежать на Серостана Царапина в виде лежачего полицейского – поставангардный концептуализм! Пройдут пионеры – салют Шулепу! Учитывай, что на носу – выборы.

– Эфиром я не умею. Мне проще харкнуть из «мухи». Как-то оно носу спокойней будет.

Сказанное не было шуткой. Я твёрдо решил, что если эти шулеповские дельцы похитили Алёшу, то мушкетом я с ними не управлюсь. А места, тропы и людей, которые мне помогут хлопнуть Димкин бумер-броневик, я тоже знал.

Позади, как бурные аплодисменты, уже слышались шлепки Натальиных тапок. Она кричала:

– У вас зажигалки есть, мужчины-ы-ы?

– Остановись, ворон! – сказал мне Юра. – Куда летишь, крыла плаща раскинув? Подождём даму.

– Здесь с тобой, Наточка, хорошо, как на панели, – сказал Юра, когда она поравнялась с нами. – А папироской тебя на загостить?

– Загости, керя. Трое суток не курила. Не хотела дышать на Ванечку табачищем!

– Неужели так серьёзно? А-а! Да-да: вы ведь здесь все хворенькие! На голову...
– Твои остроты в своё время привели меня, Юра, к супружеской неверности!
– Ну, это ничего. Мулька не прокатила. Это ведь ещё до твоего крещения было! Зато теперь Грека имеет тебя верную и правоверную!

– Да замолчите, вы, служба быта! – хмель совсем выветрился, и слова пустой перепалки стали быстро пустошить мою душу. – Надоело! Ты, Юра, в частности, надоел! Произошло чудо – человек преобразился! Сколько можно зубоскалить!

– Шутишь? Не шутишь? Да я и сам себе надоел, – печально вдруг сказал Юра, когда по тылам приёмного покоя мы вышли на уличный пандус. – Спасу нет. Вот те крест! Может быть, это в такой чудовищной форме у меня проистекает истерика?

Я посмотрел в его невинные глаза – и принял сказанное за чистую правду.

– Возьми, Натаха, мой пиджак – озябнешь... – он накинул пиджак на плечи Натальи. Она снова тихо заплакала, жалея Ивана Георгиевича и восхищаясь вместе с ним на небеса. Но увидела мою кислую, как я могу предположить, мину и уверенным жестом бывшей жены достала из кармана Юриного пиджака носовой платок. Она сказала: – А ты, грубый писака, не подглядывай за тонкими чувствами... – и тут же начала: – Юра, ты мне пиджак насовсем отдал?

– Тьфу, ты! – в сердцах уже сказал я.

Она замолчала под своим пиджаком. Только спросила:

– Чего ты? Нежные все кругом... Как итальянские колготки...

Но ирония вместе со всеми её ржавыми механизмами опустошала меня хуже водки, когда не хочешь, а тебе навязывают: выпей да выпей. В разговоре случайно выяснилось, что вчерашние день и ночь выпали из моей памяти.

– А мне казалось, что и дня не прошло...

– День был хороший – водка плохая. Не переживай. То-то тебя – ни я, грешная, ни отец Христе... как же, как же это...

– ...дул? – уточнил я.

– Да, Петя! Дул! Он не мог найти тебя с семьёй собаками, керя!

– Что это он псарню-то развёл?

– Ага! Очень красиво, очень интеллигентно! – воскликнула Наташа. – Сам первый начал! А я фигурально выразилась. Отец Христодул просил тебя, как откопашься, позвонить Ане. Сделай это непременно.

Мы вернулись в палату.

8

Всё шло своим чередом. За окнами сгущался ранний сумрак ноябрьского воскресенья.

Толстячок Иван Георгиевич лежал тихий, маленький, доверчивый, похожий на щенка сенбернара, в своих зеленовато-жёлто-чёрных очках на подглазьях. Лишь иногда он поправлял повязку на седой голове.

По седьмой молитве иерей взял струец седмый и, омочив во святой елей, помазал болящего. С тем начал молитву:

– Отче Святый, Врачу душ и телес, пославый Единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего, и от смерти избавляющего, исцели и раба Твоего Ивана, от обдержания его телесныя и душевныя немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего...

Я, грешный, отвлекался. Несмотря на высокий молитвенный настрой, меня знобило от прикосновения к чуду. Оставаясь светским человеком, простым и нерадивым мирянином, я не мог измениться в один раз, как этот тбилисский грек. Мне казалось, что глаз смиренней и опытней, чем эти его недавние буркала, я не видел нигде. Казалось, что этот человек отныне может жить, уже не произнося слов – ему этого не надо. Мне казалось, что он облачён в рубашку, которая легче и надёжней бронежилета, что руки его, держащие свечу, никогда не касались грязных денег и

чистых дев.

– ...бессребреников Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотия и Аникиты; святых и праведных богоотцев Иоакима и Анны и всех святых...

Вспоминался далёкий дом в степи, где смотрел, может быть, из окна на почерневшие зимние прясла мой Ваня. Подышит на стекло, потрёт – и смотрит. За плетнями, за пряслами – дорога. Куда уведёт она моего белоголового мальчишку? «...Мама, дай мне ещё чего-нибудь святого...» Как же, Ваня! Выходит так, сынок, что если твой папа не убьёт их – они убьют тебя, спроси Алёшу. Что же прикажешь мне делать, сынок? Ну, будем мы с тобой сидеть у окон, топить стульями с табуретками печку и ждать, что нас придут убивать. Если холодом, голодом не выморят нас эти дети Арбата – заберут на войну, на которую сами не смотрят даже по ТиВи. Думаешь, я отдам тебя, Ваня? Как бы не так. Мой керя – дядя Юра – прав: мы с ним уже на войне. Мы должны убить их, чтобы жили и размножались наши дети...

– ...Яко Ты еси источник исцелений, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Единородным Твоим Сыном, и Единосущным Твоим Духом ныне и присно и во веки веков, аминь.

Батюшка Глеб велегласно возгласил: «Царю Святый», положив Евангелие на голову Ивана Георгиевича, прочёл отпуст, причастил грека. Приблизил крест к его фиолетовым губам:

– Целуй крест, раб Божий Иван, на одре лежащий...

Тот поцеловал крест, потом Евангелие и по-русски чисто произнес трижды, как научил его батюшка:

– Благословите, отцы святии, простите мя грешного.

Едва он произнёс свою просьбу третий раз, как отец Глеб покачнулся, протянул мне знакомый складенёк с изображением Спасителя:

– Подержи, Петя...

Он выскочил в коридор – туда, где ждали окончания соборования наши друзья.

«Астма...» – укладывая в батюшкин саквояж утварь, привычно подумал я. И когда Иван Георгиевич с тревогой спросил меня: – Что с батюшкой? – я и ответил легкомысленно:

– Астма, Иван Георгиевич!

– Я выписал Наташе чэк для ваше имья, Пётр. Стройтэ храм. Я уже говорыль батюшке, что у меня одно условие: хочу лежать в церковной ограде, когда Господь мьменя вострэбует... Прощай, брат...

Не моя ли кровь его преобразила? – мелькнула искусительная мысль. Я пожал плечами, в смятении душевном поблагодарил его словами «спаси вас Бог!» и вышел вслед за батюшкой из реанимационного бокса.

Отец Глеб стоял спиной к стене и рвал своими лёгкими руками невидимую петлю на худенькой шее, по-рыбьи хватал посиневшими губами больничный воздух, глаза его закатывались...

– Юрка-а-а! – закричал я, подхватив батюшку под силки. – Наташа-а-а! Врача-а-а!

Утирая на ходу губы, с лицом, испачканным губной помадой, из кабинета доктора Ксении выскочил Медынцев.

9

– На твои вопросы о современной церкви, Юра, отвечу просто. Внутри храма – нет ни старого, ни нового времени. Я – верующий, и веру у меня отнять не в силах ни дьявол, ни человек, ни вселенские катастрофы, – говорил отец Глеб, лежа в соседнем с Иваном Георгиевичем боксе. – И я буду бороться за веру Православную до тех пор, пока меня Бог не покинет...

Мы вчетвером стояли у его кровати. Незаметно подошла Ксения.

– Я служу Богу, Юра. А ты служишь революции. Это ведь та же литургия, но литургия безбожная... Безотеческая... Похоже, что революция – это расплата человека за то, что он неправильно живёт, и в некотором смысле за то, что он живёт вообще. Где-то я читал именно о таком понимании революции. Православная же Евхаристия, Юра, не отменяет земной борьбы за

справедливость. Наоборот... Богом всё дозволено. Всё, что с любовью, с тоской по благодати. Запрещается ненавидеть... А мы живём в стране временно победившего атеизма. Разве вы не видите, Юра, что не просто уничтожает нас атеизм, а натравил нас друг на друга, и мы сами друг друга уничтожаем!..

– Нет, нет, нет! Не понимаю!.. Что надо сделать?

– Для этого следует – сесть в позе Будды на балконе и смотреть на облака или на звёзды, – сказала вдруг Ксения нервно – нервы сдали.

– Что пишут умные люди? Они пишут, что атеизм – скрытый сатанизм... Веруйте, Юра, в Святую Троицу – в этом спасение души... А тело – полечим, правда, Ксения?

«Батюшка, а что мне матушке-то вашей сказать?» – хотел спросить я. Но тут керя упал на колени и пополз на них к одру, ухитряясь при этом биться немытым лбом в стерильный пол. Добравшись до батюшкиной руки, он омыл её слезами, одновременно бормоча покаянные слова, издавая скрежет зубовный, шмыгая носом и мотая повинной головой.

– Это я вас так... я вас, бачка... Простите, каюсь... Грехи мои... О-о-о, мама!

– Нет, керя, – улыбался отец Глеб. – Это не ты... Это моё время пришло... – И смотрел на нас ласковыми синими глазами. – Я ведь в Ленинградскую-то блокаду служил в артиллерийском дивизионе, детки... – говорил он. – И были мы, солдатики, такие же доходяги, прости меня Господи, как и все блокадники. Контузило. И лежу я в госпитале – сил нет, молодость – одна сила. Главврач приходит. Хирург Анатолий Васильевич, верующий был. И говорит: «Кто, ребята, ходячие – вечером надо вашими силами дать концерт для ранбольных! Ты, – это мне, – хорошо поёшь. Споёшь...» Пошёл я в назначенное время. Вот он – марш на второй этаж, где ранбольные лежали. Вот он – баян, который мне поручено нести. Я этот баян-то едва, брат ты мой, поднял, а по маршу идти нет наших сил. Пошёл, упал. Не помню, как очнулся в палате, как вот сейчас... Оглядываюсь: лежат наши как лежали. Петя тоже Седых – лежит, дышит. Садовский-сержант лежит. Палата больша-а-а-ая. Конца не видать, общая палата. И ходит между рядами – кто?

– Доктор! – предположил Грека.

– Смерть! – шмыгнул носом Юра.

– Жизнь вечная – монахиня! – сказал батюшка. – Вся в чёрном, сама держит что-то в руках. Похоже, лекарство. То над одним, то над другим нагнётся. Одному даст из ложечки, другому даст. Кого-то обойдёт вниманием. И вот ко мне приблизилась. Лица, ребята, не помню. «Ешь, лейтенант!» – и ложичку к моему рту подносит. Я спрашиваю у неё, что, мол, это, лекарство? Она опять: «Ешь!» – говорит. Я взял губами-то из ложечки – масло! Натуральное коровье масло из коровьего молока. Держал я его во рту. Оно тает, а я мелкими глоточками сглатываю. А монахиня дальше с обходом пошла. Утром проснулись, я спрашиваю: «Что это, ребята, за монахиня ночью ходила, масла нам давала. Мне, Седыху...» А это, ребята, ходила Ксения Петербуржская. И по позициям она ходила, верующих спасала. Тех, кто не отступил от Христа. А так получилось, что вся наша батарея с командиром вместе подобралась – верующие. И так ни один не погиб, уж на что потом в Восточной Пруссии жестокие бои были... А нынче моё время пришло.³²

– Э, нет, батюшка! – всяк по-своему возгласили мы. – Тут вам умереть не дадут!

– А вот насчёт твоего языка я не осуждаю, Юра. Просто вспомнился один не прихожанин даже, а захожанин. Давно тоже это было... «Что, – спрашивает, – мне, батюшка, делать? Не пью, не курю, жене не изменяю, но что ни слово у меня, батюшка, то и мат. Скоро с работы выгонят. Я в детском учреждении электриком работаю! Спасите, батюшка!» – «А как это у тебя, чадо моё, происходит?» – спрашиваю. «Ну, бэ, – говорит, – вот так, бэ, и происходит! И посылаю всех, походя, невзирая на лампасы!» Я ему говорю: «А ты, чадо, вместо "бэ" говори "сэр". А вместо того слова, на которое посылаешь, говори, например, слово "мир"!» Вот приходит он через месяц, может, раньше. «Ну как?» – «Перестали, – говорит, – меня люди понимать, батюшка! Иду мимо магазина. Навстречу – колченогий из серого дома: "Здорово, бэ! Добавь, – говорит, – двадцать копеек на червивку!" Я ему: "Здорово, сэр! А мира не хочешь?"»

Ну, идите, родные, идите. Я молиться буду. А ты, Петя, дитёнок, позвони отцу Христодулу, коли уж он в городе. Скажи, пусть придёт. Понял, сынок?

– Понял, батюшка.

Мы оставили его наедине с молитвой.

Замкнутое тело города, как тело висельника, в поисках опоры подсаживающегося на кол. Есть ли у города душа?

...Дело было осенью в ранних сумерках. Мы с керей по пожарной лестнице полезли на крышу первой в Китаевске пятиэтажки. Как же не влезть на местный небоскрёб! Лестница была холодной и мокрой. Оттого, что руки потеряли чувствительность, я сорвался. И в следующее же мгновение я оказался сторонним наблюдателем того, что происходит. Причём собственное не то скольжение, не то падение по лестнице я видел попеременно с двух точек. Первая – непосредственно изнутри моего тела. Ощущение – падаю не я, падает тело и при этом с огромной скоростью, как хороший компьютер, ищет варианты своего спасения. Вторая – я лечу рядом со своим падающим телом и вижу это со стороны. Застрял я за пять ступенек до конца лестницы. И с полчаса сидел на ней, приходил в себя. И вот с этого момента я стал догадываться, что я и моё тело – это разное, что я могу жить и действовать независимо от него. Потом острота озарения пропала, я уже не был в этом уверен и даже гнал от себя эти воспоминания, стесняясь их, как детской веры в чудеса.

Иван Георгиевич снова напомнил нам о том, что жизнь продолжается там, за чертой смерти и, наверное, во многом определяется тем, как мы её просадили здесь.

Так и душа города живёт сейчас вне видимых глазу очертаний собственной выморочности. Мы смотрели на него из окон кабинета доктора Ксении. Благо шло воскресенье. Работала только дежурная смена, и Наташа, пользуясь благорасположением Ксении, вызвала сюда и отца Христодула, и Шалоумова.

– Мы сделаем так, – режиссировал керя. – Шалоумов закажет на завтра внеочередной эфир. Передача как бы о том, какие хорошие у нас буржуи! Один из них, известный в городе хлеботорговец Иван Хара, жертвует огромные деньги на строительство православного храма и детского приюта в деревне Антониха. Есть, есть в нашем народе предприниматели, не погнавшиеся за личным обогащением, умеющие контролировать собственные потребности, думающие в первую очередь о благе общественном. Сенсация! Наташа сядет в студии на звонки, она наши голоса знает, она будет обеспечивать связь. Для страховки я, допустим, буду называть её Алёной, ты, керя, назовёшься, к примеру, Коневым из села Коровий бор, а Ксения...

– Ивана, Анпиратор, не замай! Ксеньку – не впутывай! – сказала Наташа. – Революция не должна пожирать своих врачей! Подскажи ему, Петя, – он тебя слушается!

– Ревнуешь. Это плохо. Но Ксению Сергеевну впутывать не буду, хорошо. В эфире достаточно будет и двух китов: Шалоумова с керей. У них хорошо получается. Сотни моих людей сядут на линию. Они обеспечат поток звонков – только успевайте крутиться, керя, как волшебные жерновцы!

– А я-то опять с какого боку жерновец, керя? Я сюда зачем ехал: чтобы ты на мне ехал или чтобы всё же заработать на пропитание семейства? И Наталья права: не надо делать фарса из преображения человека! Из чуда Божьего! Не каждое лыко-то суй в строку! Не смей! Ведь только что на коленях к батюшкиной руке полз, лицедей ты ползучий!

– Правильно! Ты хороший – я дурак. Отвечаю на первый вопрос. Ты, керя, уместен у микрофона потому, что Иван Георгиевич отказал деньги на строительство храма именно твоему семейству, а не мне, лицедею Медынцеву! И твое местонахождение в прямом эфире – оправданно. К тому же никто, как ты с твоей всегда козырной системой расстановки акцентов, не откроет людям глаза на вопиющее беззаконие! У них шоры! – и он почему-то постукал пальцем по лбу Ксении. Она мило улыбнулась мне. – Второе: смотри, сколько денег обломилось тебе от хлебной торговли! Сто тысяч долларов! Мало?

– Очень много. Но это не мои деньги!

– Да, действительно... – на мгновение смялся он. – Твои, керя, заработанные, у меня, я могу тебе отдать. Вот только дождёмся Шалоумова.

– Вот и хорошо, – сказал я. – Тогда и поговорим.

– Видите? – спросил женщин керя. – Отечество в опасности, а этот Козьма Минин торгуется с князем Пожарским об ста рулонах ревендука³³! Измельчал русский народ.

– Давай, керя, сегодня больше не острить. Хорошо? Иначе пропадай моя телега! Я жене с ребёнком не могу позвонить которые сутки! И прекрати морочить мне голову этими своими... рокировками!

– Рокировками? Хорошо. Давай, керя, за читку пьесы! Суть нашей акции такова: пользуясь случаем, вы должны сказать, что по большому счёту население России никому не нужно даже как расходный материал. Эти миллионы стариков, старух, баб, мужиков и детей нужно кормить, согревать и лечить. То есть тратить на них часть доходов от продажи Родины. Они будут требовать своё по праву рождения на этой земле. Выморить их, заменить. На это есть азербайджанцы, китайцы, негры, которые по дешёвке насверлят дырок в бывшей русской земле и – успевай выкачивай оттуда содержимое. Потому торговля человеческими органами, которую кроет Шулер, – это цветочки, хоть и дурно пахнущие! Ягодки – впереди. Но чтобы не обожраться этой белены с крушиной, мы, представители мыслящего общества, должны инициировать судебное разбирательство всей этой деятельности Шулера. Единственное, чего они боятся, – это использования народного недовольства какими-нибудь посторонними силами или просто народного бунта.

– До чего ж ты неприятный тип, Анпиратор! – вздохнула Наташа и с сочувствием погладила Ксению по затылку. – Что скажете, Пётр Николаевич? Он кто: представитель неведомой потусторонней силы или подстрекатель к народному бунту? Или это – сложение векторов?

– Да хорошо, всё хорошо! Скажу одно, что после этой передачи твоего Хару убьют на больничной кровати, меня повяжут, а деньги отнимут. Это и будет разложение векторов: керя – в кустах, мои Аня с Ваней сушат мне сухари, Наталья – ни жена, ни вдова, к тому же безработная... – уныло сказал я. – Давай дождёмся Шалоумова. А пока я пошёл молиться куда-нибудь в угол...

– Ксения, поставьте, пожалуйста, мальчика в угол! – начал Юра. И вдруг спохватился: – Извини, керя!

Слава Богу!

«Владыко Вседержителю, Врачу душ и телес наших, смиряющий и возносяй, и паки исцеляй! Раба Твоего Глеба немоществующа посети милостию Твоею, прости мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, исцели его, возстави от одра и немощи. Запрети духу немощи, остави от него всяку язву, всяку болезнь, всяку огневицу и трясавицу, и еже есть в нем согрешение или беззаконие, ослаби, остави, прости...»

«Ах, не умею я молиться! Где витают мои мысли?»

Кто-то за моей спиной заглянул в комнату, сказал женским баском: «О!» – и удалился. Проскрипели колесики каталки в коридоре.

«...Господи, пощади создание Твое во Иисусе Христе, Господе нашем...»

«Где вы, Аня с Ванюшкой? Где ты, Алёша? Жив ли ты, малыш? Господи! Помоги же этому одинокому ребёнку. Как ему жить в оскалившемся мире, в этом жестоком городе, полном помешанных взрослых? Спаси его, сироту, Господи, хрупкого, полного невыплаканных ангельских слёз!..»

«...с Ним же благослови еси, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь...»

Вот придёт ещё и отец Христодул – помолимся вместе во здравие нашего ясного старинного батюшки.

Тихо открылась дверь, я встал с колен и оглянулся.

– Т-с-с! – приложила палец к губам Наташа. Обвила меня руками за шею и прошептала: – Ксения – сексот, Петя. У них в ранимации так положено, и зарплата к тому же маленькая. Керя всё знает. Он играет. Он хочет прогнать им кино про Джеймса Бонда... – Она вложила мне в руку

бумажный лоскуток. – Здесь адрес – это дом напротив. Сдувайся в темпе! Иди туда – там ждут Шалоумов и отец Христопраз...

– Христодул! – поправил я.

– Молчи, керя. Лучше бы поцеловал... Да куда тебе!

– А керя как же? – прямо ей в ухо шепнул я.

– Ой! Щекотно! – пискнула она. – Керя нам не указ!

– Да я и говорю: керя остаётся, что ли? Ты что, как Ариша бесполденная!

– Керя подтянется! Кино керя прогонит и придёт... Это у него называется перевербовкой агента. Ты же знаешь: он всегда был неразборчив в связях...

– А ты?

– Я тоже.

– Я о другом.

– А-а! Я остаюсь с Иваном, с батюшкой. Им с батюшкой нужен уход. И ты уходи. Давай, Петя... Сдувайся через центральный выход!

10

– Весело, керя! – открыл мне и сразу же возбуждённо заговорил Шалоумов. – Сейчас они нас в больницу брать придут, а мы из окошка на них поглядим.

– А где же отец Христодул?

– Он зубы чистит, керя! Хочет тебя зыисты! Третьи сутки по городу Горнаулу тебя разыскивает. Был и по адресу бункера – ты не открывал на звонки. Хорошо Наташа всех построила. Нашли тебя! Вы с Юрой хороши: керя Анпиратор и керя Конспиратор! Батюшка тебе письмо оставил – и по своим отеческим делам отбыл. На столе для тебя ещё записка из дома! Пляши!

– Слава Богу! – дало сбой и рванулось к деревенскому дому моё сердце. Мои простые чувства взыграли, вспенились во мне пузырьками праздничного шампанского. Вспомнилось прошлое Рождество с закланием гуся, счастливые объятия и восторженные глаза сына после праздничной молитвы, и смущённо-неодобрительное побряхтывание тестя, закопавшего в стайке свой партийный билет с огромным номером. И мне захотелось рассказать кере Коське о том, как я соскучился, как много передумал за эти бурные дни. Но пока я раздевался и шёл к столику, Коська не позволил себе ни единой паузы:

– Керя, ликуй! Лихие люди ограбили дачу полковника Клячина! У него при окладе девять тысяч рублей со всеми премиями, выплатами и гробовыми обнаружилось несметное количество драгоценностей, как у царя морского! Жадный он оказался! Зачитываю весь протокольный список по памяти: тридцать тысяч зелёных, наручные часы «Патек Филипп» и «Картье» из белого золота, золотые часы «Морис Лакруа», золотая цепь длиной полметра, золотые кулоны в виде сердца и кувшина, семь золотых колец, в том числе три с бриллиантами, брошь с аквамарином, инкрустированная камнями белого цвета, и натальный крест с изображением Иисуса Христа. Мелочей не помню, копия протокола у меня есть!

– погоди, Коська! Уймись! Довольно считать деньги в чужом кошельке! – я сел на визитку и своими дрожащими руками вскрыл койверт. – Уймись, керя!

Писала Аня.

«Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Где ты пропал, Петенька, родной наш папочка? Мы ведь с Ваней соскучились, а новую карту для мобильного купить не на что, некогда и негде. Стихов я давно не писала, и вдруг они полились слезами.

Над нами – небо,
Меж нами – вёрсты,
Алмаз моей души.

Ты хлеба, хлеба,
Простого хлеба
Голубкам покроши,
При мне – икона,
К тебе окошко,
К тебе, родному, нить.
Жены молитва,
Как неотложка,
Способна ль воскресить?³⁴

Далее – по умолчанию. Засланный тобой твой сват Алёша у нас, помогает по хозяйству. Как ты думаешь, хорошо ему с нами будет? Мы с Ванечкой думаем, что неплохо. Ванечка уже многие иконы знает! Эта, говорит, «внимательная». Так будь же к нам внимательней, мы ждём тебя, Петя. И любим верно и преданно. Аня, Ваня, Алёша».

– Домой, – сказал я. – Войне конец, керя. Простая человеческая радость – этого кому-то мало, мне же – в самый раз.

– Давай, керя, дембельнись, – согласился Коська, глядя в окно. – А мы ещё повоюем! Только вот что скажут вам прихожане? Стало быть, вы хорошие, умные и правильно верующие, вы – бежать спасать не то души, не то драгоценные задницы, а мы – глупые, неправильно верующие – останемся страну спасать, на смерть идём! – он развернулся, подошёл и присел передо мной на корточки. – Так? Посмотри мне в глаза: ведь я тебя нашёл, Петю керю, а ты – уходишь в этот... садомазохизм!

– Я, Коська, за своей душой иду. Куда она ведёт, туда иду. А смерти нет, вот и Иван Георгиевич подтвердит...

– Ты мне ещё в письменном виде подтверждение принеси. И пусть Иван Георгиевич подпишет. Нет! Шалишь! Вам нужна торжественная мученическая смерть от супостата, а нам, якобы грешным, – богатство, женская ласка и свобода. А ты ребёнка ангельского спросил, хочет он мученической смерти? Какие уж там Ослаби с Пересветами! Если уж и сама власть заменяет идеологию религией, то это тупик. Так давайте – в скиты, в глухие деревни? Да вас и без того никто из сильных мира сего не замечает! Но если надо будет – найдут, из глубокой шахты выкопают! А вы будете только немытыми лапками в воздухе шевелить да на свет Божий щуриться!

– Не сомневаюсь. Наверное, я слабей и проще тебя, керя. Но ещё слово, и я тебе засвечу так, что сначала *ты, керя*, лапками зашевелишь! Запасы юмора кончились, тишины хочу.

«Непростительно уйти в сторону от борьбы, когда ты полон сил. Когда их нет, то ты просто обязан отойти в сторону, чтобы не быть помехой. Тогда, говорят, разбитые, рассеянные силы могут вернуться...» – думал я.

– Начинается! Анпиратор идёт – что сейчас будет! – сказал Коська Евдокимов дефис Шалоумов. – Вот это режиссура! Они в полной уверенности, что вся наша «банда» в больнице у милой стукачки Ксюши. Стукачка Ксения как-то в ма-е-э-э... Пойду-ка я, поставлю чайник.

Коська снова отошёл к окну. Я вскрыл письмо от отца Христодула.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Здравствуйте, Пётр Николаевич! Я прочёл Ваш обстоятельное письмо и постараюсь на него ответить столь же обстоятельно. Не знаю, увидимся ли мы. Меня зовут работать в город, в епархию. У нас, как в армии, приказы не обсуждаются. Но я хочу снять с себя сан и уйти в бизнес. Квартира, в которой вы сейчас находитесь, снята для меня и моих детей моими бывшими сослуживцами, а ныне – бизнесменами. Я ведь бывший майор ВДВ...»

Тревожные предчувствия охватили меня, заложило уши. Я закрыл глаза и стал гадать: что же дальше в этом ответе на моё письмо, которого я уже не написал бы сегодня? Что, не мною созданное, я невольно разрушил? Я снова глянул на письмо – оно было длинным. Я панически пробежал его глазами, словно желая ознакомиться на случай грядущего нервного потрясения.

«...Говорить и признавать правду часто бывает невыгодно, стыдно и больно, но через эту боль мы обретём утраченное внутреннее здоровье и целостность. Я беспокоюсь за свое внутреннее здоровье. И даю себе отчёт в том, кто я в сущности есть. Я вдовец. Моих детей, двух девочек, прокормить-то ещё я смогу, но им нужна мать. Они безнадзорны. Когда умерла моя супруга, ей было едва за тридцать лет, и она ведь была неплохим музыкантом, могла регентовать. Скажу вам, что я попросту не вынесу этого испытания детьми-сиротами. А жениться вторично нам, священникам, сан не позволяет...»

– Ничего не понимаю! – сказал я грозно. – Что за дьявольские козни? Он всё ещё не может поделить со мной Аню?!

– Баня? – отозвался, перекрывая жужжание кухонного радио, Коська. – Сейчас будет баня!

В слепящей ярости я всё ещё пытался увидеть в письме то, чего ожидал, а вовсе не то, что там написано.

«...Зарботков никаких. Уродлива практика, когда батюшка питается не за счёт десятины, а вместо этого получает зарплату, как и гражданский человек. Но кто замолвит словечко о тех же псаломщиках? Я не вас, шабашников, имею в виду, а тех, которые являются хиротонисанными чтецами? Ведь они также должны питаться за счёт церковной казны. Причём те, кто распоряжаются церковной казной, не имеют право оставлять младших клириков погибать от нужды. "...Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, некоему от клира нуждающемуся не подает потребнаго: да будет отлучен. Закосневая же в том, да будет извержен, яко убивый брата своего..." (9-е Апостольское правило). Вот и получается, что у нас очень многие выпускники духовных семинарий идут на гражданскую работу по причине того, что принять хиротонию они пока ещё не решаются, а служить чтецами и получать жалкую зарплату для них означает, извините, умереть от голода или быть выселенными из квартиры...»

Дальше, отец Христодул!

«...Ваше письмо подхлестнуло принятие мною и уже известное вам решение. Я уже знал, что не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией, не ими и не учёными богословами хранится святое достояние её – Дух Истины. Иногда миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревности о деле Божиим, но и разума духовного. И раньше "уши народа" оказывались, по словам св. Илария Пиктавийского, святее сердец иерархов. Подлинное самосознание церковное движется не по пути иерархичности и учёности, а по руслу святости. Отстранённость наших архипастырей от духовного руководства привела к тому, что и среди священников противоречия в мировоззрении достигли небывалого напряжения. Или их неспособность к нему, духовному руководству, как в случае со мной. Духовенство и мирян, по моим ничтожным наблюдениям, разделяло разное понимание земных и вечных ценностей, но это же основы, на которых стоит всё церковное вероучение. А вот поди ж ты, многие из нас теперь по-разному смотрят на эти основы. Что уж говорить о бедной нашей пастве, раздираемой противоречивыми проповедями и поучениями своих собственных пастырей!...»

Дальше, отец родной! Где Аня? Куда ты уводишь мою Аню?!

«...В предании Церкви ничего не переменялось, но переменялось восприятие Евхаристии, самой её сущности...»

Где же Аня-то, дорогой товарищ комдив?

«...И получается, что современная Церковь – это лишь дисбат, инструмент изошрённой в своей подлости политической Системы. И куда же мне идти, куда вести своих детей с моим желанием видеть на земле нового человека? В революцию, как Вашему другу Анпиратору? Может быть, революция восполняет литургическую пустоту. Может быть. Может быть, Сильный во бронях Господь дарует им Победу. Во всяком случае, я не встану на пути революции. И как мирянин буду молиться за неё. Но я насмотрелся на человеческую кровь и никогда уже не смогу, наверное, проливать её, если дело не коснётся прямой угрозы жизни моих детей...»

Письмо кончалось:

«...Вам как писателю, наверное, интересно знать, отчего у меня такое имя, хоть я и не монах. Так получилось. Христодулом назвала меня моя набожная деревенская бабушка. Одноклассники звали Крисом, мне это нравилось. Когда получал паспорт – сменил имя. Когда поступал в семинарию – восстановил по метрике. Относительно Анны Михайловны, не нарушая тайны исповеди, скажу: такие не предают. Дерзну, грешный, позавидовать Вам...»

«Стало быть, я туда, в Храм, а ты – обратно?..» Я впал в оцепенение, которое показалось мне долгим. Из этого мёда вырвал меня Коськин вопль:

– А-а-а!

«Ошпарился!» Я вскочил с низкого кресла, как с низкого старта и, не разогнувши до конца спины, кинулся на кухню. Мы с ним больно стукнулись лбами.

– Керя! – сказал он, весело потирая мой лоб. – Керя! Тебе не нужен гранатомёт – Шулера, гада, застрелили!

– Чему радуешься? Ты и убил! Под тебя роют!

– Знаю! – отозвался он. – Но я ещё живой, а его уже – тю-тю!

Я вспомнил отчего-то полиэтиленовые пакеты. Пустой в Крыму на можжевелевом кусту, потом – с продуктами и портретом Димки в руках Натальи. Лопнули пакеты. Содержимое растекается...

Не успели мы, перебивая друг друга, изложить внятно своё видение произошедшего, как пришел стратег.

– Здравствуйте, коллега Шацких из параллельного мира нищих духом! – начал Юра, но сияющий Шалоумов тут же сообщил ему новость. Юра глянул на часы:

– Половина седьмого. Это приятное сообщение. Оно должно ускорить ход событий. Я сказал Ксении, что мы пошли ужинать, а соберёмся у неё ровнехонько в семь. Пойдёмте пить чай и усиленно думать. Объявляю мозгобойный штурм, кери вы мои!

...Ровно в семь пятнадцать в больницу ворвались люди в масках. Мы смотрели спектакль из правительственной ложи. Обратно они вышли, не спеша, без багажа, как по трапу самолёта.

– Облизнулись. Вот это кино, – уважительно говорил Шалоумов. – Вот это режиссура! – и пошел прикладывать холод к распухшему от удара моей головы носу.

– Кому – кино, кому – ино, – сказал я.

После успешного покушения на мэра уже работает система «Перехват». Значит, город закрыт, а мне – домой. Я не понимал лишь: меня-то с каких щей ловят? За то, что дублировал керю на радио?

– Мне ведь, керя, домой надо, на деревню. Как я полагаю, у них нет оснований брать меня на цугундер?

Медынцев сказал мне на это:

– Бывают страшные семьи: если у папы на лице прыщи, то они появляются и у мамы с ребёнками. Они ведь, керя, не преступление раскрывают – им нужно сказать телезрителям:

задержаны первые подозреваемые... матёрые экстремисты... один прикидывался радиожурналистом, второй прятался под личиной псаломщика... по делу открыто следствие. Они же не скажут «уважаемым телевизорам», что сами Димку и хлопнули: он бы проиграл эти выборы вчистую... Ловко! Нет, тебе, керя, гранатомёта. А ворон в огороде пугать – рогатку сделаешь... До города Китаевска мы тебя доставим...

– А Коська – как? Я ж ему лицо нечаянно разбил. Теперь он страшней Усамы бен Ладена. А ты – как?

– Я же и говорю: нас провезут через кордоны. Весь этот хухрыжный балаган утихнет – они найдут, кого схватить. Потому Коська отсидится в монастыре, место ему забито. А я хорошо прикрыт в этих больших манёврах.

– А нищие?

– Всяк из нас нищ перед Рокфеллерами. Мои нищие будут мне рукоплескать!

Так получается: грешный отец Христодул завидует мне, я отчего-то позавидовал кере – всё ему ясно, поезда идут по расписанию.

Я счёл нужным сказать на прощанье:

– Ещё неделю-две назад мне последний раз снился механизм Калашникова, керя. Но – извини. Я проснулся и окончательно понял: моя работа там, где сейчас умирают люди без причастия и без молитвы. Словом, буду поступать в духовную семинарию, а там и наши подтянутся.

– Никак ты у меня бесповоротно рехнулся, керя, – вывел он.

– Никаких «никак», а никак нет, Ваше Анпираторское Величество, не извольте беспокоиться! Вы занимайтесь, керя, «ремонтom земли»³⁵, а я – текущим ремонтом. Ты помогай живым жить по-людски, а я – уходить по-людски. Ты – Василеве, а слово это того же происхождения, что и базилик – «средство, посредничество», поскольку цари считались посредниками между верующими и богами, землёй и небом. Где-то мы снова сойдёмся, керя. И, наверное, очень скоро. Побереги себя, керя.

– За мной сила.

– Нечистая это сила. Угольная мафия, что ли? Кинут они тебя. И во гроб гвозди вколотят.

– А у меня керя – псаломщик! Свой человек перед Господом Богом!

Я обнял Юру.

– Через час – отбываем, – растрогался он. – Дождётся тебя, ворона, твоя Нюська! Обрадуется! Надо бы ей да Ваньке подарочки по дороге купить...

11

Прощай же, прощай, Горнаул, столица Шалтайского края!

Ранний предзимний сумрак успокаивал своим лживым покровительством. В машине с номером фээсбэ нас вёз молодежавый смуглый мужчина. Тот самый туркмен, который обязан Юре своим московским спасением? Всё это настораживало своей правдивой простотой. Шалоумов дремал на моём плече. Керя разговаривал с пилотом. Я неудержимо думал о доме, который казался мне Брестской крепостью духа. Нас не остановили ни на одном милицейском посту, а когда мы миновали Бабаев Курган и пошли по трассе к последнему посту на въезде в город, то, чтобы приглушить тревогу, я решил позвонить не кому-то из могикан, а своей беспамятной Раисе Терентьевне.

– Керя, – сказал я, – дай мне свою трубу...

– В счёт аванса, – сказал керя.

Шалоумов, похоже, спал крепко. Я набрал номер и долго слушал длинные гудки, воображая то, как старушка вставляет в шлёпанцы ноги, долго озирается и не может понять: в дверь ли это

звонок или вообще что это такое... Потом она обнаружит звон, узнает, где он, и спросит:

«Серёженька, а Россия жива?»

«Жива, слава Богу, Раиса Терентьевна! Очнулась после ранимации в этом историко-географическом пространстве да сразу есть попросила!»

«А кто сейчас вождь?»

«Для меня вождь – Христос, Раиса Терентьевна...»

«Значит, Церковь Апостольская жива, Серёженька?»

«Жива, Раиса Терентьевна! Правда, наблюдается незначительный процесс расцерковления быта. Евхаристия, Раиса Терентьевна, в сознании христиан превратилась в частные требы, но это ещё не факт православного бытия, а что вполне вероятно, факт моего контуженного сознания! Кому до него есть дело? И правильно, что дела нет...»

«Нет, Серёженька! Но при чём же здесь Господь? Он ведь испытывает нас, ангел вы мой!»

«Господь Бог жалеет нас, не оставляет своей Благодатью. Наша страна широкая, богатая, прекрасная, вообще создавалась, расширялась и украшалась православными людьми, для которых и сомнения в её будущем не было...»

«Неисповедимы пути Господни, но, может быть, он делает так для того, чтобы мы сами о ней, о Благодати, затосковали? Ведь тоскуем же мы об утерянном доме? Может быть, она снизойдёт хотя бы к нашим детям...»

«Только русский православный фундаментализм, Раиса Терентьевна, спасёт русских детей, может быть. Я понятно излагаю, Раиса Терентьевна? Ведь они, детки, видят то, чего мы не видим или видели да забыли... А сейчас, дорогая Раиса Терентьевна, – стихотворение:

Когда за ходом облаков по лощам небесным
Следил ребёнок, возлежа на летнем берегу,
То мама пела на лугу – ему казалось – песни,
И медонос благоухал перед грозой в стогу.

Казалось, этой тишине вовек конца не будет.
В ней даже самый лёгкий вдох – казалось – шелестит.
И вдруг ребёнок крикнул: «Ох! Скорей смотрите, люди!
Смотрите: Бог! Смотрите: Бог на облаке летит!»

Смотрели люди в небеса: казалось им – драконы.
Они смотрели на мальчика: казалось им – чудно.
В жилищах не было икон. Вместо икон – законы:
Нам должно космос покорять, сверлить морское дно.

А Бог на облаке летел... Под синей неба сенью
Он видел: ангела душа за ним летит легко.
Стояла времени река. Стояло Вознесенье...
Казалось людям, что четверг...
До Бога – далеко...

– Алло! – ответил мне наконец веселый девичий голос. – Вам кого?

– Здравствуйте! – растерялся я. – Мне хотелось бы услышать Раису Терентьевну!

– А вы на машине?

– Да, я... мы на машине.

– Ну так и поезжайте к ней на тот свет – она ведь умерла позавчера!

Я услышал дружный молодой смех – наверное, это смеялись над нами с новопреставленной дети её детей. Меня передёрнуло так, что с недовольной миной проснулся Шалоумов.

– Ты что? – потряс он головой. – Агония началась, никак?

– Я – ничто. Аз есмь червь. А вот плечо ты мне, Коська, отлежал – мозжит плечо, – сказал я и

попросил Юру: – Керя, давайте заедем по пути в нашу китаевскую церковь! Заедем на кладбище, где наши лежат, а?

– Запросто, но, – отозвался керя. – Нам нельзя. И путь впереди неблизкий. Коську в монастырь на послушание определять. Это ж тебе не ребёнок в роддоме оставить – и бегом на дискотеку! А ещё надо тебя в твою чухомань забросить.

– В какую ещё «чухомань»?

– Чухомань как чухомань, – зевнул он.

«Ладно, – думаю. – Дома помолюсь вместе с Аней за новопреставленную рабу Божию Раису. Нечего людей отвлекать...» Но Юре сказал почему-то:

– Отдавай мои деньги, керя!

– Что, свечечек не на что купить? – елеинно сказал керя и закрылся руками, как от удара. – Грабю-ю-ют!

Я не стал сдерживаться и крепко стукнул его по крепкой жеребьячьей холке.

12

Эх, керя, ты керя! И нужна она тебе, эта хула? Смею думать, что не Святая Церковь и несправедное священство гнут наши спины и лишают сил, а бесконечная череда грехов да упрямое отвержение Божественной Истины.

Я буду строить Храм. Человек приходит в Храм и оставляет за порогом всё скотское, суетное и мелкое. Он открывает душу высокому, светлому и вечному, как само небо нашего Великого в своей простоте детства.

Я вижу его. В восточной части на возвышении – алтарь, отгороженный от остальной части Храма иконостасом. В самом центре алтаря – престол, антиминс и большой золочёный крест, украшенный стразами. Он располагается сразу за антиминсом, в дальнем выступе престола. Прямо под антиминсом лежит Святое Евангелие, а чуть сбоку от стола стоит дарохранительница с причастием. В северной части алтаря стоит жертвенник – четырёхугольный высокий столик для приготовления хлеба и вина. На нём расположен дискос – небольшое круглое блюдо на ножке для помещения хлеба, лежит копиё – маленький ножичек для нарезания просфорок и лжица – серебряная ложечка для причастия.

По сторонам от иконостаса над полом возвышаются солеи и выдаётся выступом амвон. Сразу за амвоном, в самом центре иконостаса, располагаются Царские Врата, через которые, как через игольное ушко, во время богослужения проходят священники.

Отец Христодул, хороший человек, не прошёл. Отец Глеб, хороший человек, прошёл.

Я же – грешный подлунный мечтатель, сочинитель застольных песен, соблазнитель женщин, соблазнённый женщинами; я – Адам, изгнанный из рая, уса́тый драчун, усталый бретёр и любимец всех гитар мира; я – ворон, плачущий над телами отошедших в Вечность людей, я буду молить Господа со своих новых земных баррикад о Великой Милости: дай мне, Боже, путеводную звезду на пути через игольное ушко.

«Не золотопарчовые фелони с фиолетовыми камилавками, не бахромчатые набедренники и ромбовидные палицы, не саккос со звонцами и не омофор с вышитыми крестами, и не белый клобук дай мне, Господи... – говорю я. – ...А дай Ты мне, Великий мой Боже, выстоять в огне и скорби искушений! Если каждый из нас выстоит, родится Россия, обновлённая благодатью Христовой!»

Мы ехали мимо тёмных деревенских погостов, мимо редких в океане степных, снегов огней, похожих на звёзды. Справа осталось кладбище села Погорелихи. Скоро свёрток, от него мне два километра пешего ходу.

– На свёртке остановитесь.

– Зачем? Мы тебя прямо к дому, на вороных!

– Хочу пройтись... Так говоришь, я ворон, керя?

– Мы оба, керя, – вороны. А ворон ворону – глаз не выклюет. Правда, Коська?

Коська спит. Я выхожу в степи.

Приходит час больших испытаний, сынок мой Ваня. Твой отец, похоже, сделал свой выбор. Трус возьмётся за валидол, дурак – за автомат. Умный возьмётся наконец за ум. А мудрый – за душу.

Скоро начнётся правда, которая светлее солнца. Она придёт в мой дом. Я – дома.

Эпилог

Мои друзья разбились на стосороковом километре от Убийска, взлетев в небо с трассы на скорости около двухсот километров в час. Зачем же я остался жить здесь, внизу?

2006 г.